

Михаил
КРУПИН



ОКАЯННЫЙ
ПРЕСТОЛ



МАСТЕРА
ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ



Мастера исторических приключений

Михаил Крупин

Окаянный престол

«ВЕЧЕ»

2003

Крупин М. В.

Окаянный престол / М. В. Крупин — «ВЕЧЕ», 2003 — (Мастера исторических приключений)

ISBN 978-5-4484-7643-3

Наконец-то Лжедмитрий Первый во главе объединенного войска, состоящего из поляков, литовских и русских дворян, донских и запорожских казаков, вступает в Москву! Народ в восторге – наконец-то все будет «по справедливости», «по Божьей правде»! Лжедмитрий тоже предвкушает ожидающее его «по справедливости» счастье – любовь, славу, власть... Что же в итоге? Каким будет целый год царствования на московском троне, о котором так скупно высказывается официальная история? В центре повествования – наряду с фигурой Лжедмитрия Первого – его ближайшее окружение. Казачий атаман Андрей Корела, юный гениальный полководец Скопин-Шуйский, польский гусар Станислав Мнишек... Все это реальные исторические лица, как Борис Годунов, царевна Ксения, Марина Мнишек и многие другие. Судьбы этих людей переплелись между собой и с судьбой России настолько плотно, что вычеркнуть их из ее истории невозможно.

ISBN 978-5-4484-7643-3

© Крупин М. В., 2003

© ВЕЧЕ, 2003

Содержание

Первые радости	6
Ехидна и другие	20
Казнь	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Михаил Крупин

Окаянный престол

© Крупин М. В., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Знак информационной продукции 12+

...И я пошел к Ангелу и сказал: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька в чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед.

...И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
Откровение Св. Иоанна Богослова (гл. 10)

Первые радости

Суда с бойцами, орудиями и припасами мягко врезались в песчаный берег Оки. С плотов, стругов, задержанных отмелями, прыгивали в теплую воду сильные люди без лат – незаметные бесчисленные труженики войны, легкие души, лишенные чванства крикливого чина или наследной славы ужасного прашура. Взваливая на закорки сложенные шатры, кади с порохом, баламутя коленями перед собою остаток реки, бедные спокойные воины спешили на сушу и, там освободившись от груза, в радости облегчения бежали за новой поклажей к судам.

Бояре и шляхтичи, благополучно преодолевшие водный рубеж, все вдруг, очнувшись от бездеятельного голубого пути, вспомнили о добрых своих голосах и нагайках, принялись с удовольствием торопить, путать жизнь переправы. Кони сразу пошли рвать удила, выворачивать на подводных камнях ноги, сгружаемые пушки – черпать дулами ил, а чугунные ядра – выпрыгивать из подмышек тягловых воинов...

– Шевелись, вражина сельская! – помогали криком латные ратники лапотным. – Огневое зелье юфтью закидывай, – вишь, с востока какое прет!

– Стороной протянет – слышь, ветер сухой! – уверяли лапотники латников, сами приглядываясь к злой синеве на краю земли, вслушиваясь в отдаленные облачные колесницы.

– Молча, черти, трудитесь – тогда пронесет, – обрывал иной мистик-боярин. – Эва, эва как озаряет! – и невольно показывал плеткой туда, где небесные жаркие плети без звука секли по кайме лесов.

На песчаном пригорке недалеко от воды, не внимая ни сутолоке вокруг, ни подбирающейся дальней синеве, стоял на коленях, молился один человек. Только что человек получил челобитный рулон от лица всей Москвы, из которого понял, что признан великим царем и путь в святую столицу открыт. Но не слова благодарности Господу составляли молитву человека-царя. Постаревшее будто на несколько долгих веков, сердце его едва жило во тьме беды и чуть теплило свой караульный лучик, надеющийся всегда неведомо на что, сиречь – достаточный, чтобы заставить всего человека не просто дрожать, а молиться.

В той грамоте, где Дмитрий Иоаннович, впервые Москвою не названный Гришкой, назначался царем, также упоминалось, что все Годуновы, долго не допускаявшие Дмитрия на родовый престол, казнены тайком для показания полной покорности стольных бояр своему государю – для покоя его. И теперь государь-победитель стоял на коленях в песке, вразной осеняясь крестами, латынскими, слева направо, и русскими – наоборот. Этот человек слезно гневался на пробегающие Небеса. Как не смогли они предусмотреть?! Ведь не в силах сам он, простой смертный царь, воплотиться повсюду – во главе частных войск и в московской, упавшей от страха рассудком и совестью стране! Он только шел к центру земли с полками, упразднил старое и, даря праздные звания лучшим друзьям, созидал новое свое царство-государство. Мог ли он предугадать, не дойдя сотни верст до невнятной и в буйстве, и в обморочном заморении столицы, что – по-латынски сказать «механизмус» прежнего, казалось уже, пылью рассыпавшегося в тесных двориках московских царства, все его уцелевшие жернова, рычажки и корытца начнут вдруг судорожно действовать, выстраиваться победителю навстречу и в упоение древних своих заработавших частей содеют страх неожиданный!..

Царь закрывал глаза. Сосредоточивая луч молитвы, забывал креститься – просил у Бога небольшого чуда – упразднить явь: чтобы открыл глаза – и боль осталась в темных зрелых дремоты, скрылась вспять на крыльях вспугнутого сна.

Закадычный советник царя, Ян Бучинский, переминался вблизи, покручивая в руках недочитанный свиток, – даже Ян не был вхож в самое сердце Дмитрия и объяснял для себя

его дрожь и кресты минутным отдыхом духа, заключавшим плеяду великих побед, купленных криком и нервами.

– Сутупов, Молчанов, скоты, – шептал в песок государь, – думные волки!.. Я погублю!.. Пол-Москвы на кол!

Тут же соображал: самое осенение крестное требует жертвы всех помыслов мести и гнева в пользу прощения и милости. Вдрагивал, отползал в сторону и начинал заново:

– Иисус, извини, я не то хотел, Вельзевул попутал! Вот клянусь всем твоим святым... Ни одной капли вражеской крови не вылью, христианскому телу царапины не нанесу! Только ты как-нибудь смилуйся, преобрази этот бред... Да поверь же ты в меня и воскреси Ксюшку!..

Бучинский, заметив, что грозные выхрипы друга сменяются жалобным шепотком, решил: слабость проходит, приходит время потешить царя, дочитав грамоту, – разбудить его дух для славы и суеты окончательно.

– «...Из роду погранных неверных владык, – смешливо-вкрадчиво продолжал Ян, – до этих пор жива осталась только лишь змеевка-чаровница Ксения – Арслан ее пожалел и ослабил петлю...»

– Ян, убью! – взвился в песке Дмитрий, на миг забыв свой уговор с Христом.

– Так здесь написано, я-то при чем? Сам читай! – Бучинский прочел что-то в пробрызнувших нечистым огнем очах Дмитрия, кинул в него челобитной, а сам быстро сбежал с холмика, закружился песчинкой в потоке коней и телег.

Царевич (так все же правильной именовать признанного, но еще во храме миром не помазанного государя) подобрал почту и сам проследил, не дыша, не слыша рваных биений в висках, до того места, где смолк Ян.

«Жива... живая!» – бесшумная молния отразила на миг в своем ясном излучистом русле поля, лес, стволы, иглы, листья – весь придвинувшийся горизонт. Миг утонул опять в воздушном полусвете, робком и весело-безвлажном в предощущении дождя.

Издали, с такой высотной дали, что эхо каждого удара, разрастаясь, успевало подавить звук нарождения следующего, по облачным ступеням понеслись вниз выроненные на небесной переправе архангельские стратегические ядра.

«Живая все-таки...» – Дмитрий не мог укротить колдовской дрожи тела. Каждая крапинка, капля-кровинка его, четверть часа назад старчески отяжелевшая, теперь бешено торжествовала: каждую Стрибогова стрела несла попутно всем, и каждая пела в лад своей стреле, внизывающейся бесконечно...

– Янек, подойди, не бойся, я отошел, – обнял царевич лучшего друга-драбанта. – Что ж ты, поросенок, всю грамоту враз не прочел?

– Так вязь там, если бы цивильный римский шрифт, – оправдывался, недоумевая, Ян. – Свои буквы русские сами еле-еле по складам поют.

«... И ту ведунью замкнул Шерефединов в лучшей темнице дворца, – вникал Дмитрий в последние строки московского свитка, сидя в закрытой повозке (по юфти стучал уже редкий дождь). – Биет Аршлашка, раб царский, челом твоей богоугодной особе – понеже Ксюшка та опаски собой не являет, то он и просит сию Годунову с живыми ее телесами оставить за ним... Аще сам Шерефединов уже оженен по обычаю христиан, то перешлет чаровницу в Казыев улус в дар гарему отца...»

Дмитрий хотел напополам разорвать пергамент – телячья гладкая кожа скрипнула, не поддалась.

Водяной плотный ветер облек фуру, зашумело, защелкало, похолодало. Ветром нагаек, веселых проклятий взвыли окрест войска.

В Москве стояла страшная сушь. Пыльные вихри ходили прямо по головам толп, запрокинувших улички обочь широкой стези от Чертольских ворот Белого города до Сретенской, сквозной, башни Китая. По заборам, деревьям, конькам и навесам построек шевелящийся люд продолжался и вдаль, и высь, подходя к самым куполам храмов и маковкам колоколен, – казалось, народ от жары припадает ко влаге огромных, синих и раззолоченных капель, жаждет выпитать их, пока вышедшие из крестов капельки не поглотил солнцепек.

В действительности же народ стремился в высоту не ради утоления куполами – чтобы не прозевать, но узреть сверху миг прихода нового царя. Змейка свободного пространства царского пути, отлично видимая с колоколен и кремлевских стен, окаймлялась пышными путивльскими стрельцами. Вторая, внутренняя линия защитной чешуи змеи играла панцирными брызгами и трепетала ястребиным пухом исследуемых русским ветром польских лат – конники Яна Запорского стояли, развернув коней по ожиданию царя, – беспокойно над войлочным «варварским» ульем крутились их полуантичные шлемы; из-под самой макушки собора пытливый, оказавшийся выше всех смельчак различал, как иной гусар, не заряжая пистолю, брал на мушку его, смельчака, – под курком что-то кричал, улыбался совсем неразборчиво, и тогда озорник сам подбрасывал мурманку выше креста и гусару в ответ хохотал от восторга и легкого страха.

Отрепьев скакал в тесном строю лучших князей Руси, загодя выехавших царевичу навстречу. По мнению польских советников, при таком порядке въезда достигались две важные выгоды: народ, во-первых, сразу видел единство нового властителя с людьми высшего русского яруса; во-вторых, блестящее из-под посеребренных бород изумрудом и яхонтом общество охраняло царевича от непредвиденного выстрела из толпы надежнее всякой брони, покуситель теперь рисковал уложить, вместо наследника престола, своего же вдохновителя.

Колокольные, устные приветствия ниц падающей Москвы слились в один медногортанный вечный крик. Отрепьев торопил, невольно теребя шпорами, коня. Хвалы и пожелания, радостно, рвано овевая, неслись мимо.

- ...здоровья!
- Солнышко!
- ...чудесным образом...
- ...на всех путях!

Отвыкшие от шибкой ходы старшие князья краснели, тужась не погаснуть в седлах, и, отставая, разрежали строй. Аргамак государя, злобно всхрапывая, уже наступал на подковы коням передового звена польской охраны (всадники оборачивались, набавляли рыси) – когда впереди, над белесой, блеснувшей, как пыльный клинок, рекой явился, точно крупная настольная игрушка, ряд древних изящных бойниц, а еще ближе выгнулся бахтерцем белого камня – возведенный радением царя Бориса мост, тот самый, по которому въезжал когда-то в Кремль, спеша к невесте, бедный Гартик Ганс, принц датский. Мост, подступы к Кремлю теперь воины стерегли не в пример крепче, чем при въезде датского принца три года назад, но как тогда – перед вторжением на мост кота – вся мощь стражи сделалась бессильна перед умыслом природы.

Ужасный пылевой столб вышел из ворот Неглинской башни, ухарски перекрутился, вздохнул, потемнел и как разумный пошел по мосту, втиснувшись между зубцами. Всадники передового звена, прячась за конские шеи, судорожно укоротили поводья. Трубач успел поднести к губам сурну, в намерении придержать сигналом напиравшее с тыла великое шествие, но вместо воздуха он собрал в грудь уже только песок и разъяренно закашлял. Отрепьев, чтобы не быть в сумятице сдавленным в среде еще не изученных хитрых бояр, проскакал вперед через разваливающеся звено гусар и сам очутился в бурене.

В серой бешеной пыли аргамак закричал, заплел ноги, руки Отрепьева плавали «фертом», вырывая из конских зубов удила, но конь надеялся самостоятельно одолеть душное

облако – прыгнул вперед, вспять, вбок – царевич боком ударился в каменный зуб моста и потерял в пыли сознание и чувство.

Но скоро ему померещился темный лес на берегу Монзы; выставив жалобно руки, он продирался куда-то следом за матерью и за отцом, но мокрые ветви орешника все сильнее били по лицу, холодные брызги слепили – и мать, и живой отец уходили сквозь рощу все дальше, не слыша сыновьего крика... Лес сметался глуше, вдруг всем станом покачнулся, проплыл, и на место его сумрачного полузабытья явился синий жар крепких небес, к солнцу вели острия-шатры башен кремлевских, соборные кресты...

Но мокрые кусты еще хлестали и брызгались, Отрепьев заморгал и приподнялся на локтях, на чьих-то подсобляющих ладонях. Духовный старец (где ж виданный прежде?) в ярком сакасе и митре стоял пред ним. Старец макнул широкую бахромчатую кисть в горшок и еще раз, прямо в глаз Отрепьеву, метнул водой.

В чистых дымках кадил за старцем виделся прекрасный, слабо выпевающий молебен строй. Увидев дальше круглый Лобный холм и сказку вечно расцветающих шатров храма Василия, цесаревич вполне внял сему месту и вспомнил, что сам обязал всю эту высшую церковь встретить и возвеличить его.

Архиепископ Арсений (Отрепьев припомнил и старца) опустил свою кисть и принял из рук ближнего священника огромную икону. Царевич, оттолкнув поддерживающих, снова присел на колени, немного утерся и приник губами к теплому холсту, к оливковой руке Благого.

Сзади ударили литавры, взыграли боевые сурны, польский марш атаковал псалмы медлительной Московии – это заметили гусары, что царь их снова бодр и резв – воплощали ликование в звуки. Лица поющих русских сильнее вытянулись – раскрываясь ртами, напряглись полосами румянца, но одолеть хоровым распевом трели задиры-Литвы не могли. Иные иереи потрясенно уже озирали новоповелителя: ну – пускает он во время сна великого богослужения мирскую свистопляску иноземцев!.. Отрепьев сам почуял скорбь святителей, не ускользнуло от него и то, что лик предвечный поднял на иконе, предостерегая, руку, хоть за него и так архиепископ подле лика поет уже осмысленно и укоряюще.

– Янек, оставь, я оглохну! – выкрикнул царь, но Бучинский, размахивающий самозабвенно саблей перед музыкантами, кроме литавр и труб, не слышал пока ничего.

Только Отрепьев подумал подняться с колен, чьи-то горячие сухие руки кинулись помогать, снова освоили царские локти. Отрепьев, встав, оглянулся – старинное, истово-испуганное личико дрожало перед ним, за ним.

– Не помню, кто?

– Бельский азм есмь, Богдан, – пропел старик-боярин. – Давесь-то в шатре, как мя предстали, ты ж вспомнил, батюшка, мою брадишку. Я ж Бельский, твой няня, – с глупых лет Митеньку в зыбке качал, сица впал в опалу Годунову.

Отрепьев вспомнил давешнее подмосковное знакомство с видными боярами – промельки вопросов... Плутует Бельский или впрямь решил, что повстречался с возмужавшим пасынком? Глазами поискал вблизи путивльских друзей – как их мнение? Мосальский и Шереметевы, самые ближние, понятно, живо отозвались. Василий Мосальский, вмиг прозрев в прищур очей царевича, быстро сам сыграл зрачками: мол, старик – паршивец, все как следует. Шереметевы же, отведавший недавно государевой нагайки, не смел поднять трепещущих ресниц, – только сорвав с головы пышный малахай, спешно стал обметать ураганную пыль с одеяния Дмитрия. Как бы опамятавшись, поскидав шапки, за ним последовали Бельский и Мосальский; стали совать, протискивать свои соболя, лисьи колпаки иные. Белое платье царевича покрылось черными, втертыми в шелк полосами, прорехи, чуть намеченные бурей, поползли по швам.

Усилиями государства был оставлен наконец молебен, приглушена немного полковая музыка, государь прошел переодеться в Кремль. Взяв на угол бороды, примкнув к плечам

хоругви, архиереи двинулись вослед – дослуживать в Успенском и Архангельском соборах. Бучинский с польской свитой сквозь Фроловские ворота проскакал вперед – принять по описанию палаты.

Завидев из-за ратной цепи удаляющееся торжество, народ московский застонал, налег на длинные топоры воинов – он, оказалось, ждал все к себе царского слова.

– Чертища, как я в сем виде на Лобный помост взойду? – прикрывался полой чистой епанчи князя Воротынского Отрепьев, хотя ему тоже не терпелось провозгласить с возвышения подбег к Москве страшного счастья, надвинувшееся половодье всяких благ. – Ладно уж, Бельский, пока ты – на помост, расскажи людям, как от Бориса меня в зыбке прятал... А ты, русский боярин, – дотянулся Отрепьев, стиснул пальцами круглую мышцу под воротом песцового Шерефединова, – ты веди – платья, палаты показывай... да, слышь, один теремок не забудь, – добавил полухрипом, полупшепотом.

– Я помню, помню, бачка-государь, – присев, заламывая на бок шею – будто с боли, уверял шепотом же Шерефединов – старался морщить как-нибудь по-русски, жалостно, широкое, как дутое изнутри лицо. – Я помню... там... за Грановитой юртой сразу... малый деревянный крыша... большой сердитый кошка смотрит в окно...

Ксюша Годунова не примечала уже смены суток в общей тоске продвижения вечности. Запертая с постельницей девкой Сабуровой в разграбленном теремке, она лежала на жесткой скамье вверх лицом – без слезы, слова или надежды ужиться с обортнем-миром. Не слыша укоризн боярышни-служанки, не понимая лакомого духа подносимых блюд, смотрела то на сумеречный потолок в крюках оборванных паникадил, то на смеющийся черный рисунок оконной решетки. Когда узорный оскал чугуна, обагрясь, тускнел, потом быстро тонул во мгле, с летних небес два серебряных лучика никли к низложенной пленной царевне, точно вдали затепливали херувимы две свечи в память Феди и мамы, или родные несчастные сами, всем светом своим, окрепшим и умудренным в посмертной отраде, своей Ксюше уже подавали особый пресветлый знак. Этот знак, отправляясь из горних пространств полнозвучным и радостным, достигнув Земли, оборачивался для внимающего щемящей страшной печалью, ибо сюда являлся истощенным, объатым и оглушенным пустынной тьмой. Неприкаанным и бессловесным.

Земная русская вечность делала новый виток – звездочки-знаки истаивали в водянистом рассвете. Девка Сабурова, проснувшись, нависала над Ксюшей и, вздохнув тяжело, будто сама напролет не спала, опускала колени на коврик, начинала опрятно постукивать о половицу лбом – открывала молитву, а с ней и темничные новые сутки. После, припав к створке низенькой двери, долго бранилась с наружной охраной, визжал засов, гремели умные басы ландскнехтов, и вновь Сабурова легко касалась царевнинных прохладных губ теплыми большими ложками, вмиг вызывающими – сквозь небытия – своими ароматами тонкую прелесть той жизни – окруженной дивным теплом трепета жизнью родных, еще вчера вкушавших за одним столом дары Господни...

Однажды, когда царевна перестала уж различать всякую силу дымок над подносимыми ложками, вошедший в светлицу-камору дворянин Шерефединов, склонившись, разжал ей кинжалными ножами рот и прилежно стал полнить пленницу разной разностью. Жидкие яства он сразу, только радуясь кашлю царевны, отправлял в глубину под гортань, что же потверже – короткими пальцами толкал под язык, рассылал вокруг десен, держал перед зубами, – и так кое-чем накормил, обеспечив опять земное бесконечное существование.

На другой день невольница впервые приподнялась на лавке и, чтобы избежать ужасного насилия кормлением, немного поела сама и впервые чуть слышно поплакала. Шерефединов, в меру рассудка наблюдавший подопечную, на радостях принес в каморку пышного иранского

кота, схваченного вестовыми Дмитрия на дворцовом темном чердаке, где тот с мая месяца скрывался от восставшего народа.

Заплакав человеческим голосом, зверь обнял бедную нашедшуюся госпожу, и был тут же удален, не сделавший увеселения, укрепивший ту же скорбь. Ксюша, страшась приказывать Шерефединову и не умея попросить убийцу родных, чтоб оставил ей перса, лишь завела пустынные глаза к разгромленному своду и так оставила до нового утра.

С тех пор как пленница начала изредка принимать яства, Шерефединов зачастил в ее темницу. Нередко он раздевал Ксюшу, – мерно урча, странствовал шероховатой ладонью по белым изгибам, притихшим движимым холмам, раздвигал ноги невольницы... Но каждый раз, вдруг заругавшись по-татарски с подсвистом, сдвигал снова ноги и одевал: берег, хотел отцу на Рамазан сделать хороший подарок.

Однородная вечность летела – только в чугунных узорах окна дольше стыл белый свет, меньше задерживалась тьма. Девка Сабурова, по вопросам хозяйства имевшая доступ на двор, приносила оттуда ненужные Ксении новости. Самозванец в Серпухове... Стали отстраивать боярские подклети, сметенные майским народом, встречавшим казаков Корелы и Гаврилы Пушкина... Царевич под Коломной, цены в Москве вновь вздымаются... Дмитрий уже под Москвой.

В день въезда самодержца в город Сабурова уговорила немца охранения взять ее на кремлевскую стену с собой – посмотреть с высоты окаянного Дмитрия-Гришку. Обрато, в Ксюшину темницу, влетела разгоряченная, захватанная немцами, стрельцами.

– Ой, не поспела, не видала ничего! Народу – луг! Красна-площадь – что цветной капусты поле! На Лобном месте твой, Аксиньюшка, дядька стоит – покойной мамы-то брат двоеродный Бельский. Людям кричит – мол, он царевича баюкал на груди, сейчас узнал его мхновенно – обману, значит, нет и наплюйте на того, кто вам брехал про беглого монаха...

– Монаха...

Ксения, качнувшись на русских неплетеных волнах, села на лавочке. Далекий образ инока, восторженно упавшего перед ее возком, снова ясно воскресил простое утро детства – словно свет хорошего беспечного лица скользнул вблизи... Ах память, странная, случайная, что ты морочишь сердце? Из сотен лиц ты выбираешь самые далекие, крылатые, легко и безвозвратно пропархавшие, и жить велишь надеждой и неверием во встречу. Вот скажи, как тот, кто без следа исчез в безветренные времена, может явиться в гости через семь затворов в страшную годину? Не чувствует он, что делается с Ксюшей, и не придет из-за семи своих святых лесов, размахивая, как мечом, крестом, вращая булавой кадило, освободить позабытую... Но нет, – Ксения жестко уперла в кулачки легонький подбородок, – когда царевны погибают, инокам же сообщается тоже о них, так что не может он не знать... хотя бы не подумать... И оружием его, моей защитой, конечно, станет лишь неловкая молитва – от отшельничьей землянки в монастырской роще, вблизи источника святой воды...

– Ой, святые-батюшки-угодники, чур меня, чур! – метнулась от окна Сабурова, – ой, с нами крестная сила! – по двору прокатился чудовищный топот и бранный лязг. Ксения, встав на цыпочках, из-за накосника Сабуровой увидела только – один воин темничной стражи, сорвавшись с крыльца, протянулся на аспидных плитах, сверху на стражника плашмя упал его топор, и пока не было известно никому – насколько воин поврежден, он сам разумно замер и смотрел на мир из-под рифленой плоскости секиры.

В тот же короткий миг дверь в Ксюшину каморку распахнулась, тускло блеснув, парчовый занавес отдернулся, и перед Ксенией (Сабурова давно вползла под лавку) затрепетал так смело, явленно один из ее снов, что на какое-то время царевна поверила необъяснимой яви.

На пороге стоял тот самый, далекий, канувший из патриаршего причта, монах, Ксения разом узнала его: все то же безусое, хоть похudevшее лицо, пресветлые кудри, тот же прячется прыщик под носом. Все его платье полосато, серо от песка и пыли, надорвано в иных местах,

на поясе кривой клинок – как же ты, монах Ослябя, прорубился? За дверь – всюду – тяжкие и спешные шаги.

– Слушай, беги! – крикнула Ксения, впивая радостного схимника-заступника глазами. – Беги, теперь мне немного осталось, некого переживать... Спешу, ведь тебя схватят: здесь близко ходит сейчас это чудо, Отрепьев... Я вспоминать теперь буду, как ты приходил, время побежит быстро.

Инок шагнул к ней, качнулся круглый, неизвестный лик у него на груди, на червленной цепи.

– Государь-батячка, я карашо кармил! – вдруг сбоку, из-за плеча инока выглянул Шереметев. – Еще вчера, государь, говорила как умная!

– Кто... государь? – слетело то ли с губ, может, с ресниц невольницы.

– Ну да, – разулыбался избавитель. – Проси теперь, краса, что любишь, и люби как хошь, я – государь!

– Дмитрий Иванович, дурында, наклоняйся в ноги Дмитрию Ивановичу! – защebetали, засвистали отовсюду стайки голосов – смешливых, истовых, дрожащих.

– Неправда. Это все во сне, – сказала слабо царевна. – У меня сны такие, там хорошие вдруг превращаются в страшных...

И ловко закрыла руками глаза – на миг очнуться опять рядом со сказочным схимником, вошедшим и оттолкнувшим орду самозванных губителей царской земли.

Петр Басманов, принявший Стрелецкий приказ под начало, на время сделался также главой государева сыска. Отдыхая от стройных и величавых доносов, боярин все возвращался к одной думке-закоюке, необходимости установить: как это горстке донских казаков удалось с хода занять стольный, снабженный белой и красной стенами с задобренной сытой охраной, крупнейший город? И не сокрылось ли за показною лихостью казачьего налета что-либо из того, что теперь следует Басманову по должности подробно знать? А уж коли не было боярской каверзы здесь, смеха лицедейства, – и совсем хорошо: Петр Федорович, с радостью учения и дрожью ревности, изучит все тонкости славного штурма – оно ему надо, первому воеводе всех оружных сил Руси.

Басманов отправил рынд быстро выяснить – где на Москве стоят донцы, бить челом, звать с почтением в гости их атаманов.

Но рынды, быстро воротившись, доложили: кроме стоянки казаков из личной свиты Дмитрия, к смелым делам передового отряда Корелы не касательных, нет донцов-героев никаких. Басманов нерадивых рынд отдал под розги и, приказав ополоснуть водой, заново бросил на поиски.

Освеженные, будто прозревшие воины промчались по пещеркам-уличкам Китая, вертя конями, ерзя на седлах, морщась и рыча, допрашивая встречных-поперечных, просыпались сквозь путаное сито Белого города и заблудились в правильной немецкой слободе. Но поне-многу рындам начало везти: в травянистых овражках, лиственных закоулках открывали пасущихся рысачков с коротко стриженной гривой, с подрезанным косо хвостом. Рядом с выгулом казацких лошадок чаще всего, притаенно или прямо, лубенел кабак, там рындам удавалось обнаружить по-за штофами надолго спешившегося, тяжелого наездника. В одном из кабаков конь находился прямо в помещении, – склонив чубарую занузданную голову под лавку, перебирал губами кудри неподвижного хозяина. Порой сурово всхрапывая, гремя подковами среди катающихся полом оловянных кубков, конь никого не подпускал к родному казаку, но, разглядев людей Басманова, опрятных и хлопотливых, рысак вдруг рыданул, закивал и даже преклонил передние колена – тем подсобляя рындам погрузить хмельного поперек седла. Казак уже не имел знаков малейшей жизни, влажные черные кудри нездешней повиликой оплели его помолодевшее и безнадежное – под платок застиранный – лицо.

– Игнатий, атаман готов! – сказал соратнику молодой рында, наудачу послушав через газыри черкески, пронизанной водочным духом, и не поймав теплого отзвука в тиши донца.

– Вези, брат, все одно к боярину, в приказ, – рассудил старший. А то опять урюта не поверит, под розги нас даст.

Для проворства дела закрепив кое-как атамана поперек на рысака, врасплох погнали к Басманову. Но по дороге то ли ветерком донца обдуло, а может быть, мерные толчки крупа друга-конька пустили ему сердце, но только вскоре атаман стал подымать косматую степную голову, потом весь распрямился, хрустнув яростно суставами, и, изловчившись, сел в седло – с натугой хрипнул голос:

– Которое время?

Петр Федорович радостно приветил атамана, большие полководцы обнялись.

– Присаживайся, Андрей Тихоныч, рассказывай – где пропадали, как брал с ребятами Москву великим дерзновением?

– Да ну, не помню, – сморщившись, махнул рукой Корела и присел на стулик посреди пустой, обмазанной по алебастру известью светлицы. Соленого арбуза нет, боярин? Ах, москали не припасают? Хоть огуречного рассольцу поднесешь?

Басманов распорядился насчет ублажения гостя и снова спокойно напомнил Кореле вопрос.

– Вот заладил, – оторвался Андрей от зеленой живительной мути в разбитой для него четверти. – Ты скажи лучше, где государь?

– Вообще-то, наперво здесь отвечают на мои вопросы, – между делом заметил Петр Федорович.

– Это где это здесь? – возмутился было Корела и тут ощутил, что сидит одиноко на стульчике в оштукатуренной горенке, а Басманов стоит перед ним под маленьким оконцем, рядом с узким пустынным столом. В оконце еще, впрочем, виделся дворик с отдельными, как бы монашскими кельями – в высоковатые их окна вмурованы частые прутья. – Эх же тебя метнуло, воевода, ну-ну... – протянул, сострадающе морщась, почти улыбаясь, Андрей.

– Сейчас царь в янтарном зале, – ответил первым, не желая ссор, Басманов.

Петр Федорович вряд ли мог сам складно объяснить, как сразу и легко он, прямодушный и отчаянный боярин, занял высокий пост самого скрытного ведомства. Это легко могли бы объяснить поляки, полковники и капелланы да путивльше думцы, советники Дмитрия, все это долго рассчитывалось: слежение темных путей духа русской знати возможно было поручить, во-первых, только русскому (поляк даже на краешек боярской местнической лавки сесть не смел – ибо и вошедшие в Москву смутьяны не желали новой смуты на Руси); во-вторых, главу тайного сыска надлежало сыскать из бояр, приближенных, хотя бы недолго, к престолу, сиречь – вникших в соотношения чванств при дворе, уже уловивших особенный строй игрищ кремлевских; в-третьих, неплохо, чтобы такой человек, хоть на первых порах, был любезен московским стрельцам и черному люду посадов (то есть ничем пока городу не насолил); и наконец, желалось бы иметь хоть некоторое основание для надежды, что сей облеченный высоким доверием витязь сам не начнет норовить тайным заговорам, потакать своим прежним друзьям, а теперешним недругам взошедшего царства.

Именно Петр Басманов, оцененный, приближенный к трону еще угасающим Годуновым, был замечателен великой ненавистью и единым страхом, которые он вызывал во всем синклите русского боярства. Родовитые ярились на него за худородство, не обиженное божьими дарами и царскими милостями, а еще помнили в нем отпрыска хищного куста опричины, понимали – чей он сын, чей внук. Но и среди малознатных, при Иоанне IV, в ярое время выдвинувшихся везунов не был Басманов своим. Старики, умертвившие в муках – по молодой службе родню его и оставившие по недосмотру жить малого Петю, справедливо страшились теперь его терпкого гнева.

Итак, свита советников Дмитрия, пораженная высоким соответствием Басманова всем чертам «сокровенного кметя», немедленно передала воеводе, вслед за Стрелецким приказом, и другой, поукромнее, пост. Боярин сначала отнекивался, дышал, грозно вспушая усы, – но всеми таки убежденный, что лучшего зверя к тяжелой цепи у царева крыльца трудно пока найти, согласился принять должность временно. (За сие же время, – воевода знал, – держа в руках нити сыска, заимев доступ к Разрядным, Разбойным подшивным книжкам, он точно сможет сказать – сын ненавистного Грозного или безродный способный собрат перед ним на престоле Москвы.)

– ... Не помню никакого штурма, – все вспоминал Корела, сидя посреди приказа перед кадкой с огурцами. – Рва, вала будто и не проходили... так, темнота какая-то... Потом вдруг сразу – свет дневной, Красная площадь, Пушкин вбежал на возвышение, начал народу читать...

– Да, силен ты, атаман, пировать, – улыбнулся Басманов. – Все. Теперь, как тобой захвачен стольный город – загадка русской истории навек.

– Слушай, у Пушкина спроси – может он что помнит? – залюбопытствовал и атаман.

– Гаврилы нет на Москве, уехал землю глядеть, жалованную за подвиг государем. А воротится – можно попробовать, поспросить... Только напомни.

Корела твердо кивнул.

– С праздников думаешь к какому делу применяться? – задал еще вопрос Басманов.

– Вот шкурку малость подсушу, почищу, – провел Андрей рукой по диковатой бороде, сладкими кляксами рейнского подернутой черкеске, явлюсь тогда к Дмитрию Ивановичу, поговорим за жизнь.

– Мое ведомство в острой нужде, – грустно признался Петр Федорович. – Нужда в храбрых проверенных умниках. Айда ко мне в податные, Андрей?

Корела сразу фыркнул, начал озираться:

– Кого позвать? – и не найдя более никого в горнице, стал увеличивать искусственно глаза. – Это Дона воину перебирать доносы? Мимо пистольных крюков давить кадьки подпрестольных дураков?..

– Но кто-то должен... – возразил было и сокрушенно смолк Басманов. «О Боже, – вдруг подумал он, – да неужели я один такой?..»

– Да и кого ловить, Петр Федорович? Народ горой за Дмитрия, боярство замерло, чего здесь сидишь?

– Кого казнить, все замерло! – тяжело сорвался с места воевода, прошелся кругом кадки и донца. – А ведаешь, что клетки во дворе, – метнул рукою в сторону окна, – полны под края смутой, там дворяне без прозваний, купцы без товаров, попы без приходов, стрельцы без полков... а на деле – все купленные бунтари-шептуны, подмастерья великой крамолы.

– Тю! – привстал, опершись на бадейку, Корела. – А кто ж мастера?.. Ну сыщи – кто же их подкупал, шептунов, – уж надо кошевых бунта!

– Так они по-добру ведь не скажут – неужели пытать безоружных страдальцев? – отразил напор казака щитом его же тонкой щепетильности Басманов и тут же, вмиг отбросив бестолковый щит, устало объявил: – Сыскано все уже. По слабым ниточкам, путаным звеньям прошел, немножко косточек мятежных покрошил под дыбу... И вот могу ответить утвердительно: выходят эти нитки с одного двора.

– Чей двор? – пытал заинтригованный Андрей.

– Ха! Послужил бы у меня в приказе – узнал, – ловко поддразнивал Басманов. – А так гадай, угадывай, волость удельная.

– Маленько подсажи, тайник с кистями, – попросил Корела.

– Да можно и побольше. Уж кому-кому, тебе полезно знать, какие лютые ехидны батюшку нашего подстерегают. Во все то время пока Дмитрий шел к Москве, а ты с ребятами по винным

погребам да по кружалам отмечал победу, с того ехидного двора посыльные сновали на базарах и не советовали распалившимся мещанам Гришу Отрепьева (да, брат, Отрепьева Гришу!) царем сгоряча привечать. На том дворе ехидна собрала первых людей столицы – зодчего Коня, целителя вольного Касьяна, Сережу-богомаза... И уговаривала их метнуть в посады клич: одумайтесь да возбегите-ка на стены Белокаменной: отпор до самой Польши вору! И ежели бы первые московские таланты приободрились да вышли к почитателям с красивым словом, еще вопрос – царил бы нынче Дмитрий Иоаннович в Кремле и сладко ли в сыскном приказе атаман Корела похмелялся?

– Так что за ехидна, не понял, змея или как ежик? – морщил лоб атаман.

– Пока не поступишь, всего не скажу, – издевался Басманов. – Птица княжьего роду. С въездом Дмитрия в город тать пока залег и притих... Ждет поры для удачи прыжка, нового темного времени...

– Воин, ты что? Враг до сих пор свободен?! – Корела даже потянулся за клинком. – А ну-ка отвечай – какого роду князь? Пошто тобою не взят, не прижат в тот срок же?..

Басманов выждал долгое, спокойное мгновение и прямо ответил:

– Я боюсь.

Непросто было Петру Федоровичу вымолвить эти слова, глядя в беспамятные, совершенно новые после запоя серебристые очи Андреевы (ведь такие глаза лишены и понятия страха за жизнь, которое могло бы основаться только на хорошей памяти о прошлом страхе жизни).

– Как это у тебя бывает, воевода? – в удивлении Корела отпустил клинок обратно в ножны.

– Андрюша, ты не москвит и вообще почти не русский, иных вещей тебе и объяснить нельзя, – вздохнул Басманов, морщась под тысячелетней тяжестью родных традиций.

– А ты начни с начала, – подсказал казак.

– Ну, Рюрик был сначала – первый князь Руси, затем – Владимир Мономах, Александр Невский... Потомков Невского, великого святого ратоборца, теперь осталось на Москве всего одно семейство, так что, не будь Дмитрия в живых, старший сего овейного славой рода имел бы право царствовать... Его-то терем и распространяет волны смуты...

– А я что говорю, пора таких князей захоронить, они уже не знают, как прославиться!

– Без надежных подручных не долго на кол взыграть самому, только открой дело... А помощников еще поищешь. Если уж кочевник с Дону кривится, так легко ли природному русскому свое живое древнейшее прошлое рушить? Он никак еще не вник: во вчера осталось равновесие кремлей гордыни, завтра же – слепящее блаженство всей страны, чудесно преломленное в единой голове царя и устремившееся вдаль по воле самодержца!

Увлечшийся Басманов говорил уже обыденным неясным русским языком, забыв, что для степного атамана эта речь пока – великоумная чужбина.

– А где Кучум, овса он получил? – Корела вдруг поднялся и оправился.

– Пошел, Андрюша? Значит, зря я распинался. – Басманов огорченно привалился к белой стенке, смазал ребром ладони по подоконнику. – Игнашка, гостя проводи к коню!

– Так не шепнешь на дорожку, Петр Федорыч, какой там Рюрикович хитрит? – обернулся на пороге казак. – Мстиславский али Трубецкой?

– Это Гедеминовичи, – сухо поправил невежду Басманов.

– Слышь, а царю сказал? Дмитрий знает?

Но воевода огладил усы, положил за кушак руки и не вымолвил слова, не двинулся больше, пока атаман, оценив головой прочность низенькой притолоки, не покинул служебной избы.

Тогда Басманов с размаха швырнул на стол стальной кулак, следом за ним упал сам, сгреб цепотью на темени остриженные под полутатарина кудри, – мореный стол откликнулся весо-

мым кратким эхом, напомнив все сразу распирающие старый дуб дела. Добрую половину сих дел, начатых при Годунове, давно надо было сжечь, но Басманов все медлил, не подымалась рука. Из верхнего слоя харатей, противней, книг Петр Федорович понял: нынешний царь и чернец Чудова монастыря Гришка Богданов Отрепьев – один человек. Сходство примет, составленных со слов родных, знакомых Гришки – галичан, монахов суздальских, московских, сличение литовских, русских мест и дат освобождало от всяких сомнений.

Нравственный традиционный ум Басманова изнемогал, тщась осознать свой путь, долг, в поколотовой нескладной исторической мозаике, но неожиданное молодое сердце воеводы дышало радостью, когда так думал: все же не сынок безумного тирана и не породистый придворный лис, а свой, сноровистый собрат-самородок садится на великорусский престол!.. Хотелось посоветоваться с кем-то умудренным прочно, перевести дух, опершись на прозрачно-преданного, близкого. Но всюду скорые кроткие взоры бояр, дьяков, от меха шапок до сафьяна сапог покорившихся и все же не покоренных, либо кичливые по мелочи ляхи...

Со страшным скрежетом решетчатая рама окна вдруг пошла, чубарая конская голова всунулась в горницу – Басманов рванул бешено ящик с пистолетами... да вовремя услышал хриповатый голос:

– Лады, Петр Федорович, мы с Кучумом прибыли к тебе на службу, – над конскими ушами показался всадник – атаман Андрей. – Мы так прикинули: у родовитого злодея в погребках поди не счесть сулеечек старинной выдержки, где-то еще такое приведется?.. Попробуем Дмитрия оборонить... – и казачок протянул воеводе надежную, слабо дрожащую руку, которую Басманов с чувством сжал.

Тогда донец пощекотал плеткой коня под наузным ремнем, и удивительный Кучум в свою очередь подал на пожатие продолговатое копыто – стаканчиком установил на подоконник.

Огромный конь был полон огня. Огонь светил в янтарных пузырьках глаз, дрожал, переливался под прозрачной шкурой в мускулах и сухожилиях, вырывался наружу алыми волнами гривы и хвоста. На хребет полыхающего жеребца попрыгали друг за другом Годуновы: отец, мать и братик царевны – все в хлопчатых нательных рубахах. Жеребец закинул странную, как у индейского удава, голову и безрассудно, страстно захохотал, – ударил белыми от полымя подковами в черную землю и полетел. Вот он – как пляшущий пожар терема вдалеке, вот уже – костерок, зовущий из неведомой степи, вот – зыбкая теплая свечка...

Вздвогнув, Ксюша открыла глаза: во мраке рядом действительно тлела свеча – прямо из сна, сквозь какое-то марево с привкусом валерианного ладана.

– Маменька... братец... – позвала Ксюша, после огнистых видений еще не овладев всей дневной памятью.

За шандалом со свечкой лизнул вышивку с жемчугом, мигнул на изумрудах ясный отблеск, качнулась бархатная тень, – над локтями в парче, над столом поднялась человеческая голова.

– Их нет, они уж умерли... – сказал, подходя мягким шагом к царевниной лавочке, он – монах-оборотень – самозванец.

Ксения мигом опомнилась, вскинулась, – удвигалась в ближний угол горенки, перебирая пятками по лавке. Оттуда, страшно глядя над коленками, обтянутыми сарафаном:

– Они не сами умерли, неправда. Ты задушил.

– Я был еще далече. Ваши же бояре расстарались, вот бы кого передушить. Только я дал обет – не умножать скорбь по Руси.

Открыв по голосу Отрепьева, что ей не следовало лжецаревича страшиться изначально, Ксения возненавидела оборотня-друга хуже строжайшего врага. Спрятала выбившуюся прядку за накошник.

– Скорбь, ты не подходи... А вправду ты – Отрепьев? Ты – тот монах, что на Крещенье с ковриком перед моим возком упал? – еще сомневалась в возможностях своей девичьей памяти Ксения.

Инок-расстрига, весь дух которого сладостно вздрогнул, узнав, что для царевны его незабвенна их первая быстрая встреча, уже не мог лицемерить, проникновенно разыгрывать «истинного»... Озирнулся мельком в полутемной, орошенной мяуном и всеми оставленной горнице и тихо, трепетно признал:

– Да, это я... Я шел к тебе с тех самых пор, я взял, освободив от Годуновых, весь наш дикий край... Избавил от родительского ига твою заповедную юность...

Ксюше на миг показалось, что она смотрит какой-то давнишний позабытый сон, как старина странный, как детство неисповедимый, но понятный.

– А ты спросил... О дикой родине не говорю, меня спросил, любо ли мне с тобой спастись?

– Вот глупенькая, – удивился ласково Отрепьев, – ты ж за семью печатями сидела. Теперь только пришел и спрашиваю: ты не рада? что-нибудь не правильно?

Ксюша покачала головой по темной шелковой стене. Издалека, в мечте, герои высоки и благородны, злодеи злобны и мудры – как полагается, но вот приблизился, заговорил такой злодей-герой – сразу стал ближе, меньше и придурковатее.

– Ксюш, мне же самому неловко, что не уследил и всех твоих смели. Совестьная оплошка... Но в остальном... – Отрепьев бережно присел на лавку.

– Неуж ради меня затеял все... обман, войну? – царевна, отведя ресницы, посмотрела мимо рыцаря, куда-то в темень.

Вопрос был тяжел, сложен для Отрепьева. Будь перед ним на месте девушки софист из Гоци, он развернул бы ответ теософемой многохитрого взаимодейянья своих потреб и страстных побуждений, но перед Ксенией он только быстро повторил подсказку вовремя шепнувшего чертенка – твердо кивнул:

– Ради тебя одной, знаешь, желанная...

– Я знаю, ты теперь учен кривить, – одним щелчком отправила черта на место Ксюша. – А и пусть так... пусть псы в собольих шубах не по твоему слову брата и мать извели, ты только шел... Сам мало повытоптал попутно? Спасал свое, а сколь насеял бед по деревням – подле нелепых битв? Легче тебе, что они – не мои? – не цари...

Отрепьев в желтоватом полусвете хотел понять глаза Ксении, но та говорила, совсем отворотив лицо, слабым высоким голосом (билась лиловая милая жилка на шее).

– Не счел, легшими душами в полях, наклад от... нас-то с тобой? Как я приму – позором с горем пополам заплаченную... радость эту, ты подумал?

– Даже не думал, – изумленно ответил Отрепьев. – Я прикидывал так: перейду с гайдуками границу – Русь сдастся без боя, разве жилось кому-то при твоем отце? Малость не рассчитал, а потом на попятный идти поздно было – меня свои уже не отпускали: ты куда, говорят, сукин сын? вместе кашу заварили, вместе и расхлебывать! – улыбнулся царевич, вспоминая тревоги минувшего.

Ксюша руками покрыла лицо: как немудрящ, неразлично мелок, сыт и прост явился человек, кого она так долго почитала дальним светлым другом и в ком повстречала вчера чистого подлунного врага.

– Царевна, всяко грешен, – тихонько, чутко придвигался враг. – Ну, не точи ты меня, не сердись – знаю: меня уж и Бог простил, в такой кутерьме уберег Ксюшу.

Одной рукой Отрепьев свою Ксюшу обнял за плечо, с тем, чтобы перстами постепенно захватить нежную часть груди, вторую руку поместил на талии, переступая пальцами все ниже. Тут царевна и увидела: руки расстриги намного умней его слов. От этих рук, из беспечального упорствующего звука, а не смысла речей голоса Отрепьева в ее усталое издрогшееся тело изли-

лось такое милое тепло, что Ксении пришлось призвать на выручку свою заступницу, святую благоверную княгиню Ксению Тверскую, чтобы не отложить сейчас же спор со своей лихой судьбой, склонившись в забытии на плечи удалому лапе-самозванцу.

– Ты можешь взять меня, да тебе владеть недолго, – шепнула быстро Ксюша, встала стремительно, избавившись от затрепетавших оробело рук. Ушла к охваченному гарпиями черному окошку. – Верь, не стану жить возле поруганного счастья ложа...

– Как... Ты в уме ли, царевна? – привстал Отрепьев, покачнувшись – будто дальний окский берег вновь пошел из-под ног. – Али в Писании не чла: смертельный грех и помышлять о произволе над жалованной Всевышним тебе со своего плеча плотью! Грех перед Богом, перед одеванной собственной душой!

– Меня простят... – царевна потянула за нательную цепочку, поцеловала лядунку и крестик. – На што душе тело сие, раз оно, без спроса ее, будет, што враг, приятно тешиться страстью врага души?... всяя Руси блазнителя, врага... – прибавила она, чуть помолчав.

Все обещание ее было дано внятно и тихо – Отрепьев, поверив, с умеренным стоном на время убрал руки: одну за спину, вторую за алмазную застежку на груди.

– Какой-то я народный лиходей, а всей страной поддержан, признан лучшим государем!

– Ты ворожил на имени усопшего давно – взбесил и послал в пропасть все стадо, просто наказал за любознательность и расторопность люд наш... Какова же кара подготовлена для самого Творцом?

Ксюша перекрестилась в полутьме на внешние лампадки ликов площади Соборов, словно спросила: отчего она все говорит и говорит с проклятым – корит, оспаривает, вопрошает, когда ей сидеть бы с накрепко сжатыми зубами или ногтями истерзать вражье лицо. То ли царевна намолчалась в своей келье с девкой Сабуровой да боярином Шерefeldиновым, а то ли что другое, сложное или простое что...

– Вспомни евангельскую притчу, – взворошив кудри, возражал на слово о своем подлоге и Отце Небесном самозванец. – У отца было два сына, он вызвал младшего и попросил его пойти и покормить свиней. Сын обругал старика, отказался, но выйдя из дома, отправился в хлев и прибрал там, и задал животным еды. А отец между тем звал и старшего и повторил со слезами ему просьбу. Именно старший согласился, уверил отца, что мгновенно задаст свиньям – строго исполнит его волю. А покинув дом, быстро прошел мимо хлева, занялся сразу делами корысти своей. Так спрашивается, кто из сыновей исполнил волю отца?... И не так ли и мы с прежним царем перед Богом-отцом, словно лица сей притчи, будем не по словам судимы? Не так ли и Борис, мир праху батюшки твоего, хоть и взошел по уложению Собора на престол, хоть клялся, что разделит с нищими последнюю рубашку, – что сделал? Разве накормил, одел? оголодил только и застудил страну! Не так ли я, начав с обмана... Но такой обман – ничто, пойми – это слова, два слова, строки нет, имя-отчество, ничего более... Но с этого дела начнутся, истинные, важные... Разве я только задам корма? Я обновлю, вычищу... – ужю из Москвы воскрешу Россию!

– Так вот какой ты! – повернувшись, Ксения прижалась к холодящим гарпиям спиной, в ее груди, теснясь, боролись улыбка негодования и смех превосходства. – Отец с малых лет в Думе царевой сидел, при Феодоре правил лет десять страной – все же волостям не угодил, не удался на царстве! А этот телепень пришел и все подымет! Держитесь, русские хребты!

– Нет-нет, я – милостью, никаких батогах, казней... – Столкнувшись взглядом с жестко смеркшимися вдруг глазами Ксении, тише добавил: – Марья Григорьевна и Федя не должны были погибнуть, ты же знаешь...

Ксюша ступила несколько шажков по горнице, села, пустив устало руки, перед утаявшей свечкой за стол.

– Ох, царь – желает одного, рабы вершат иное... Туда же – «милостью»...

– И все же лучший самодержец тот – чьи подданные все решают сами, – мечтательно настаивал Отрепьев. – Другое дело, на Руси пока у самих получается страшновато... Здесь людей воспитать, что ли, надо сначала или откуда-нибудь пригласить... Славно владельцу Польши всякий боярин, сиречь шляхтич, у него в собственном замке или на привилегированном хуторе, во всем-то он поступит сам по чести и по обычаю Христа... Но дайте срок – не токмо русское панство разумным, вольным сделаю, я дальше немцев и Литвы пойду – освещу, взовью над темной пашней упования крестьян!

– Ба – здесь всечестной избавитель, – вдруг заметила Ксюша. – А я-то все сижу и жду: когда-то кто меня освободит?

– О, лада моя, ты свободна с той минуты, как я переступил стены Москвы! – выкликнул жарко самозванец.

– Как хорошо, как жалко раньше я не знала, – Ксения тут же поднялась, отвесила, с махом руки и кос, поясной скорый поклон. – Когда так благодарствуйте, прощайте, свет обманный государь, – метнулась, почти побежала к дверям. Но обманный свет опередил, выбросил наискось руку под притолокой.

– Ксения... ты не поняла... – порвал дыхание и не вздохнул снова.

– Так я свободна?

– Ты куда?

– Сие как раз неважно, я свободна?

– Да, но... там темень, казаки... ты как-то не подумав... ты не подумала еще, а надо подумать... – Отрепьев, раздышавшись, бережно, но цепко тянул Ксюшу обратно, в ее келью. – Может, тебе прислать чего-нибудь... там шапки, знаешь, у полковников литовских страусиные, трубки у польских ротмистров – потянешь, в круг разум идет... Ляхи смешные, знаешь, «пша, пша»... Янек Бучинский – вот мастак легенды сказывать, пришло?

Ксения поместила перед свечой низаную позолотой круглую подушечку присев за стол, щекой прильнула к блескам тонкой канители – так, чтобы смотреть в начинавшийся где-то за гарпиями, над тихими, чем-то счастливыми еще лесами белый свет.

Ехидна и другие

В ранние утренники смутных времен вся Москва просыпалась с первым выкриком кочета, сразу, – одним тихим толчком. Но тесовые улицы, торжища и заведения долго стояли под солнцем немые и пусты: горожане сквозь выточки ставень, из-за дворовых оград, терпеливо высматривали на стезях Отечества знаки новой неясной напасти. Отворяли ворота, ступали по делам наружу, только в полном убеждении, что нищие не рушат рыночные лавки, борясь против очередного царя, и что новый царь не обложил каждое место на торге неслыханным прежде, под стать своим великим замыслам, налогом, и не вошло с рассветом в город еще какое-нибудь свежескликнутое воинство – безденежное, но голодное и смелое. Тогда только, почувствовав в воздухах слобод некую особую опрятность мира, гончар зарывал в солому на телеге витые кубышки; кузнец собирал закаленные сошники, подковы и огнива, а пирожник на грудь ставил дымный лоток перепчей с горохом и грибом. Чуть погодя, вслед за умельцами-дельцами на базар являлся с невеселым кошельем и покупатель. С ним город, окончательно прокашливаясь и прокрикиваясь, оживал.

Но до того – долгое светлое время – Москва, еще не шевелясь, смотрела и молчала. Одни округлые заутренние голоса соборов покрывали, деля кособокие посадки своей строгой формой, зыблемой мирно и ровно, – да в перерывах звонов пробудившиеся петушки рассылали друг другу ленивые, как оправдания, вызовы. Редко теперь прихожанин ходил к ранней службе, – под чудным гудом сам что-нибудь читал дома, боясь и маленькой иконы, зеленовато светящейся в «красном углу». И петуха драться с красивым соседом прихожанин тоже больше не пускал; ни гуси, ни куры в смутное лихо так свободно не ходили.

Порою одинокий всадник по казенному вопросу проносился до отчаяния узким переулком по дощичам: мостовой, грозно косясь на заборные углы и повороты. Степеннее шли над рассветной тишиной лишь большие кавалькады, но такие не часто случались, – разве вот в Китай-городе каждое утро вырастал один тихоходный и мощный отряд.

Рождением своим сей регулярный отряд был обязан указу царевича. Войдя в Москву, выждав несколько дней, помыслив собственным и приближенными умами, Дмитрий пока направил быт палат в проторенное русло. Отвечая слезной просьбе всея Думы бояр допускать их как в прежние милые лета наутро к царевой деснице, Дмитрий мило смягчился – вновь присудил знати блюсти свой обряд.

Упрежденные указом с вечера, вельможи, большей частью проживавшие в Китае, съехались во втором по восходу часу в начале Мокринского переулка. Прежде было не так – каждый к Кремлю подъезжал со своей улицы, – не отпускал последнюю дремоту, развалиясь в прекрасной колыхаге или меховых санях, даже и в слепом томлении надменничая всей душою, похваляясь пред всем светом богатым своим храпом над раззолоченным задком возка. Ноне не то – самый пожилой и грузный вышел попросту – конно, взял с собой лучших, крепеньких, слуг.

Ждали знатнейших, елозили, робея, в мелких польских седлах. Хотя все предпочитали татарские, но для такого дня у каждого почти нашлось и польское седло. Наконец прибыл старший князь Шуйский, – и все боярство, зачмокав на коников, взбрыкнуло коваными пятками – благородная сотня пошла с нежным трезвоном – серебряные косточки волновались в яблоках полых гремечих цепей от удил до хвоста. По сторонам тропы рос и рысил навстречу темный частокол, за ним – целые городки княжьих, боярьих усадеб, ометаемые вольными садами. Иные яблони беспечно выпускали за ограду свои ветви и в вышине здоровались с такими же, навстречу протянутыми через улицу трепетными лапами соседок. Бояре-путники невольно пригибались под такими арками: осенью, при немочном царе, те же деревья плелись согбенно, устало плодонося, или зимой, при дрожащем царстве – то попрыгивали скорченно, то стлались

не живы, а в мае вот, при государе молодом – летели ветви, нависая, широко, опасно, листики шептались легко и настороженно.

Те, впрочем, бояре, что передались Дмитрию еще под Кромами, смотрели вперед увереннее, те же, что трепанули от Кром до Москвы и сдались только в Москве, – ехали более бессмысленно. Эти последние теперь двигались всех впереди, стремясь первыми быть пред государевы очи, а те первые были не против – так им сзади легче присторожить от лихого подвоха сиих ненадежных, последних. Спереди всех ехал древний, сдавшийся только при самом конце, князь Василий Шуйский, – сегодня праздновался день его ангела, и князь Василий по обычаю вез государю маковый горячий каравай.

Минуя нежилой терем Басмановых с открытым резным гульбищем над повалушей, конники вздрогнули. С времени въезда царя этот двор пустовал – воевода Петр Федорович обрелся в Кремле, перевел туда и челядь, и родных, но сейчас и в разинутых воротах ограды, и сбоку в Зажорном тупике мялись вооруженные ляхи верхами, спросонья – недовольными под козырьками – глазками встретившие едущих бояр. Только знать с кроткой мелодией поводных цепок проследовала, гусарская колонна, выдвигаясь на Темлячную одним плечом, пошла следом.

– То – ничто. То нам – так, стража, – тихо приободряли друг дружку князья. – Слуги царевича-батюшки сами страшатся пока каверз от нас.

Уже виднелась впереди Лобная кочка на площади перед стеной, когда приметили за собою еще двух чутких караульчиков: Петр Басманов, в коротком кафтане внакидку – охабень в рисунке перьями, теребя орошенную бирюзой рукоять шашки, молча сидел на моргающем меринке; рядом – чернявый казачок – на небольшом рысаке.

Нашептывая в бороды молитвы, подъехали бояре к башенным воротам Кремля. Там встретили их ротмистр Борша и меньшей Голицын с украинскими стрельцами, сказали оставить у входа в цареву обитель оружную челядь и здесь же сложить все до кинжала с себя.

– Неуж нам не ведомо? – улыбались бояре, передавая рабам свои игрушки в ножнах, так обложенных камнями, что каждая вещь казалась одним сколком с былинной чудесной горы. – Только у вас в Польше и рабы, и рыцари при всех мечях заходят к королю. У нас это, вонми ты, в обычай не принято. Да, брат, у нас не так.

– Однако ж наши государи живут дольше, – небрежно отвечал Борша, взором разыскивая – не оставят ли вельможи при себе чего-нибудь.

Возле зданий Кормового, Сытного приказов пеших бояр и украинцев обогнало несколько жолнеров с легкими мушкетами.

– Пся крев, панове! – заорал вдруг на них Борша на польском, – так-то вы храните принца! – И зашипел, опомнясь, косясь на бояр. – Я ж вас с вечера устави́л под правым ганком!

Жолнеры, забранясь на том же языке, прибавили шагу и вскоре во главе процессии достигли старого двора Ивана Грозного, облюбованного Дмитрием, побрезговавшим или посостыдившимся Борисовых палат. Борше, первому забежавшему под шатер древней приемной царя для утренних бояр, блеснуло тусклое бельмо замка в скобах.

– Хоть, уходя, дворец замкнули, черти, – похвалил нехотя ротмистр часовых солдат. – Живей, Шафранец, – отпирай!

– Уволь, пане, а я-то при чем? – ответил старший караульный, – это Димитрий навесил замок.

– Як Димитрий? Кеды? – Борша дал кулаком по витому столбику. Где же царевич теперь?

– Цебе б запытац, мы-то спали.

– Застшелю поросят! Пойти спать с поста! – взревел шепотом Борша, чтоб не посвятить русских бояр во внутренние неурядицы царева войска польского.

– Да нас Дмитрий сам подремать отпустил! – вскричал Шафранец так, как может крикнуть только правый, которого нельзя казнить. – Он с вечера еще вместо нас замок поставил и куда-то вышел!

Борша, Голицын и московские князья испуганно переглянулись. Ротмистр, махнув через перила, побежал вокруг терема – с лицевой стороны узнавать, чья это блажь, что еще за рокировки с царем? Воротился скоро – какой-то спокойный и кислый, пояснил, отворачиваясь от тревожно пристывших бояр: уехал в Занegliменье на раннюю прогулку, – сейчас, кажется, будет.

И тут опытный Шуйский улыбнулся и открыл именной пирог. Оборотившись по его дальнорукому прищурю, все увидели Дмитрия. Царевич поспешал, перепинаясь, розовый вокруг неотдохнувших клейких глаз. Но шагал он не от Боровицких ворот, отколе все уже с прогулки его ждали, напротив – вдоль стен патриаршего дома пробирался со стороны ныне пустующих, грабленных летних хороминок, тех самых, в которых несла теперь Аксения Борисовна свой темный крест. Князья потупились, прикрылись брячинами век, взялись обследовать тиснение сафьяновых носков своих сапог и устройство мостовой под сапогами. Лишь самые рискованные вскользь переглянулись, вздохнули коротенько и печально...

За государем вился вечный его польский хвостик – Ян Бучинский, над царским плечиком нашептывал худое, непочетно пялясь на бояр. Дмитрий вынул на ходу, стал разбирать на обруче ключи.

Московские князья, приняв гордые столбунцы-шапки, нежно подломились где-то в общем поясе – стали на мостовой лагерем покатых шатров. Князь Шуйский тоже с натугой пригнулся к камням с пирогом.

Государь долго тискал, царапал ключами замок.

– Димитр, дай-ка я – встрень ты московское панство... – подсказывал, перекрывая сзади свет, Бучинский.

– Да подожди, Ян... Ты не знаешь тут который... сам сейчас... – все ковырялся Дмитрий возле кованых дверей.

Бояре, выпрямившись, все удачливее перемигивались – мол, и страх, и смех – вот-тыц, единопержец... А? Нет, ничего, – спохватясь, внезапно воздыхали – тужим вот: как батюшке-то не хватает своей русской придворной руки. То ли дело было – стольников-то, стряпчих... И немногие только заметили: невдалеке, на углу Аптечного, обсаженного елочкой и ясенем, приказа остановились два знакомых чутких всадника – Басманов и казачий атаман – даже в виду царских хором не сошли с седел, при входе в Кремль не отстегнули сабелек.

– Сейчас, панове... то есть эти... Сейчас, детушки мои, – кричал смурной неспавший Дмитрий, упорствуя на крыльце. – Не все успел в потребный вид привести в наследном государстве... Ржавчины у вас внегда изрядно...

Наездники, стоявшие под ясенями, вдруг подали вперед коней – буланный меринок Басманова повлекся ухабистым тропотом, но казак, откинув поводом назад голову своего чубарого, ткнув внизу пятками, четко уравновесил коня – поднял в легкий показной галоп; и копыта его рысака били звонче, и подскакав к князьям, встал как выкованный, – поспев раньше булана Басманова, чуть не взлетевшего по бархату дворцового крыльца. Басманов, спрыгнув с коня, встал на колени:

– Государь! Хоть и не вели слово молвить, только вели – казнить!

– Здоров, Петр Федорович! – оглянулся царевич. – Нет, все одно велю назвать сперва-то, ну, ну, не сиди на земле, кого порешить-то решил?..

– Молвить горько! – встал Басманов, тряхнул пыль с кафтанных репьев. – Самому страхово, батюшка, как скоро оправдал я свою службу. Ведь сыскал главного татя и злыдя твоево!

Вокруг будто похолодало и притихло.

– Ладно... Что ты, прямо, воевода, с солнцем всполошился... При всей братии... мы потом поговорим... – тихо ступил царевич несколько шагов с крыльца.

– Государь, опосля – поздно будет! – нарочито воскликнул Басманов. – Или вели меня казнить, или уж слово молвлю: сокрытую вражину отворю!

Бучинский выступил вперед, мигнув украинцам и жолнерам с мушкетами:

– Так, воевода. Назови – кого наметил! Кто крамоле голова?!

Петр Федорович вдруг остановился с приотверстым сухим ртом, что-то, оказывается, еще мешало: самой природой ставленный упругий заслон в горле не пускал на свет доносные конечные слова.

Тогда казачий атаман, тоже сошедший с коня, подошел прямо к Василию Шуйскому и руками поочередно с боков вдарил ему по ушам. Шуйский, торопя ноги, слетал направо-лево, – запнувшись, выронил калач и захмелел. Сдобный хлеб казак подкинул носком сапожка-ичиги к своему коню. Чубарый понюхал и осторожно вкусил. Атаман мягко подошел к нему.

Пожевав хлеб, Кучум вдруг заплел ноги и, подогнув передние колена, тихо лег – прижал тоскующую шею к мостовой.

Бояре остолбенели белокаменно.

– Зрите ли какими плюшками царь потчуетя? – странно хохотнул Басманов. – Конидохнут!

Корела, сам упав, налег на круп коня, обнял, лаская ему шею и холку, – как будто утешая в смерти друга. Один Басманов знал – казак упрасивает полежать еще немного своего смышленного ученика.

Старик Шуйский накрепко был сжат опомнившейся стражей.

– Как так, Василий-ста? – подошел Дмитрий к выявленному крамольнику. – Ты ж клялся – любил меня?

Но князь стоял, ошеломленный происшествием, не собрав еще слоги в слова.

– Может быть, есть у тебя защитники или поручители? – с малой надеждой спросил Дмитрий.

– Есь, ась? – круто оборотился к вельможному ряду Басманов, поскакал цепким оком по глухим, мшисто-топким обличьям бояр. Знатный строй, как один человек, откачнулся назад.

– Раз так, ступай за мной смелее, княже! – заключил Басманов. – Свет ты мой, Василий Иоаннович, с днем ангела тебя!

Кое-как возвестил начало первого послеобеденного часа дальний петух.

Отрепьев указал задернуть плотную парчу на окнах Набережной комнаты и, впадая в облака перинных голубин, выплеснул над ними добрым жестом – с берега всем вон. Пусть думают окольные да постельничие – старшие бояре – государя их после великого обеда, по стародавнему закону, унес теплый сон, так будет у них, у самих бояр, на душе потеплее-полегче. К чему знать им, что владетель их по полудням тихо не спит: по-над темной водой полдней, куда кунуто белое тело его, не унимаются волны, все расходятся, пересекаясь, круги... К чему служилому князю, сытому до неблагозвучия, зря вздрагивать и холодеть до срока? (Ведь что может быть страшней для подчиненной блудо-глупости, чем замерцавшая над ней во лбу властителя любая мысль?)

Но прежде чем поразмышлять в тишине о человеческих делах, хотелось, глаза полужакрыв, отдохнуть: для начала насладиться-ужаснуться этой, сей, высоколежной тишью, долгожданной – страшенной, только своей – как смерть; пригубить занесенный живым снегом до краев край своего владычества и одиночества.

Государь, уже понырывающий в бессмыслую сладсть сна, вскинулся вдруг: что бишь? Ни людей, ни мыслей нет, но... Все здесь: их теребление – сном, пеленою на сердце, поверх... Одиночество? – В помине. Ни услады, ни пропасти, что за дела воровские?

Обнизанная канительным золотом парча все струилась поперек оконниц, но от себя не пускала и на вершок света. Лишь несколько солнечных лучиков – толщиной в волос – пересекало палату. Отрепьев вдруг сообразил, что эти лучики берут начало не в оконных занавесах, а идут они от боковых, обитых замшей стен. Живо снявшись с лежала, прошел по светящейся нити – тронул точку-звездочку пальцем и повернул, не чая, еще набок шляпку ложного гвоздя. Луч распушился – царь приник к его истоку и тут же увидел затылок и часть спины Яна Бучинского в трех шагах перед собой. То был секретный «государев зрак», глядящий на Прихожую палату.

Перед Бучинским стояли лицом – дьяк Сутупов, дворянин Шерefeldинов, сзади виднелся Мосальский, и еще дергалось чье-то плечо, чье – «зрачок» уже не разбирал. Отрепьев приложился ухом к своему «зрачку».

– Яня, не хошь рубинов, так прими хочь алмадин! – увещевал Бучинского Сутупов.

Отрепьев поморщился и прошел дальше по замшевой стенке – поискать в ней еще «лишних глаз» и «ушей». Скоро ему повезло – перебирая бронзовые гвоздики, прикрепляющие кожу, он свернул еще шляпку – из-под нее скользнул такой же теплый лучик – обновил ход, выводящий царский глаз в Ответный зал.

Отцы Чижевский и Лавицкий в черных, подбитых пурпурным виссоном мантиях восседали там.

– Фратер наш, – говорил иезуит Лавицкий бородачу, в русской рясе сидевшему против него, – бы было хорошо, полезно вам... эм... – взором притужив товарища, – ...personaliter et pro publico bono...

– Надо бы и вам, для вас же, и заради блага общества московского, – переводил Чижевский, знающий чуть ли не весь русский язык, – признать верховную власть папы, а над ним – и нашего Господа истинного перенять.

– Нет и нет, – уждав немного, весело отзывался бородач, – я православный.

По своему виду отказывал ксендзам он окончательно, выговаривал весомо и привольно, но по-прежнему дружески и выжидающе помаргивал на них припухшими очми, не вставал и никуда не уходил.

– Эгто оч-чень хорошо, что вы православный, – вновь начинал терпеливый Лавицкий, – но куда лучше было бы, если бы вы приняли Бога истинного...

Московит вдруг ясно взглянул в глаза иезуиту, хуже умевшему по-русски.

– Наша народная proverbium гласит, – рек поп, – Prima caritas ab ego! – и ласково огладил ворот родной рясы, пестрой от греческих крестиков под бородой.

Капелланы отворили рты, проглотив вдруг по юркому кусочку милой латыни, коей неожиданно почтил их pater-barbarus.

«Знай наших! Умник – владыко Игнатий!» – за стенкой умилился русский царь.

Сей бойкий иерей и впрямь третий день уже как состоял всеямосковским патриархом. Старого первосвященителя – Иова давно вывезли прочь из Кремля, простым монахом возвратили Старицкому дальнему монастырю – тому самому, в котором первый патриарх Руси начал некогда свой иноческий путь. Сам виноват – до последнего мига упрямылся, Гришку уличал как одержимый. Отрепьев даже глянуть на бывшего благодетеля не захотел, знал – ни к чему все равно это. Не то чтобы уж как-то стыдно или страшно было, а – так, ни к чему.

При виде царственного чернеца-писаки своего, как знать, вдруг по дури стал бы вспучивать глаза и поливать выношенного на своей груди дракона-самозванца столь неистово, что – черт знает – поселил бы сомнение и в приближенных плотно к Дмитрию сердцах. Иова увезли в Старицу, когда царевич переминался еще под Москвой.

Пришла нуждишка в новом патриархе. Иезуиты было вострепнулись: мол, владыко на Руси – изобретение Борисово, доселе митрополия московская, кладя поклоны падающей Византии, не дерзала ставить над собой родных владык. А Дмитрий бился супротив Бориса,

стало быть и против всех его тиранств, не исключая православных патриархов. К тому же! – обещался королю и воеводе Мнишку – перевести Русь твердой поступью в католицизм, для этого ведь патриарх не надобен, а папы римского достанет вполне.

Дмитрий посоветовался с другом – арианином Бучинским, со знающими дьяками, боярами, рядом верой-правдой думающими со времени путивльского кремля, и так ответственвал ксендзам: водить народы в сферы иных вер надо тихонечко, не торопя и не поря, – Дмитрий царит сам на Москве без году неделя, и ту торжественную малость, коей все же жива была и под Годуновым церковью и народная душа, вдруг попать – глупо. Напротив: патриарх, помимо общей пользы, коли поставить своего осмысленного человека, сможет со временем примером и указом... да хоть спровадить Русь духовным маршем в Ватикан!.. Что же касательно большого поспешания, обещанного в харатейках Мнишку, так воевода сандомирский сам много чего обещался, а сам из-под Южного Новгорода убежал.

Иезуиты вынуждены были придержать уносливых коней миссионерского азарта. Дмитрия же, наоборот, разохотил священский вопрос, – загорелось выставить владыку могучей учености, дабы ходил бодрым направником, зрячим поводырем паствы всей.

Призвав на патриарший двор высших московских святителей, Дмитрий, Ян Бучинский и начитанный полуполковник Иваницкий стали испытывать в новейшей мудрости волнующихся иереев. На первый же предложенный царем вопрос ответом было жесткое усилие морщин и – следом – величественное молчание. Быстро перешепнувшись с помощниками, государь-экзаменатор милостиво разрешил ответчикам воспользоваться книгами. Расслабившись, отцы завздыхали свободнее, им подали на выбор коробки-тома из государственной библиотеки. Отрепьев знал: по выбранным из книги человеком положениям тоже можно судить о господстве разумения или дури в нем.

Многие сразу похватили милые, памятные по расписной обложке «Азбуковники» и завращали с ветром пестрые страницы.

– Я так и думал, – нашел все первым низенький архиепископ тульский, – только своими словесами было боязно сказать. Вот кабы ты, мила надежа, нас из постной триоды альбо из Апостола спросил – мы б тебе отстучали, языки о зубы не преткнувши... По нам – мирское суемудрие сим вечностию вызубренным знакам не одна чета.

Из памяти Отрепьева – вымытым уголком заброшенного, погребенного в пыли лубка – глянула подвижная картинка: за обедней плачущий архиерей корит Бориса Годунова за призыв в Россию иноземных лекарей и офицеров.

– Следы апостолов, конечно, много выше теософий светских, – ответил примирительно, но с вкрадчивым нажимом туляку Отрепьев, нечаянно он теперь облакал своей плотью нежные приемы старого царя, – но, обожаемый отец, по букве следа их видать: апостолы ходили неучами по земле – в начале исчисления, давно очень, а нам с вами сегодня – аж в семнадцатом столетии! – перед всем в естестве сутей миром бы не оплошать.

– Богомерзок пред Богом всяк любляй геометрию, – сообщил дородный, в повитых мелким бесом косицах святитель, кажется, не открывавший взятых книг.

– Никто и не понудит вас ни инженерией, ни геометрией, – чуть раздражился царь. – Я спрашиваю самые азы.

Тульский архиепископ, раскрыв свой требник, наконец стал отвечать.

– Земля получила начало от вод, через все большее и большее сгущение. В ее середку помещен огонь, сиречь геена – мучение, под водою – черный воздух, под воздухом – тар-тар-адис, темность смрадная...

– Не может быть... – Ян Бучинский забрал у епископа книгу и сам перечел об угрюмой Земле. Дмитрий обнял голову руками – печально помычал (но царь развеселился в тайной глубине: всего-то года два назад сам тешил в Гоще кафедру социниан страстями по Индико-

полову, а теперь покачивал спокойно полной головой над теми, кого Русь «от юности своя» чтит чудо-мудрецами).

Кудрявый протопоп, не признающий геометрии, зыркнул вполглаза в книжицу, придерживаемую в опущенной руке (книжка заложена оказалась его пальцем на какой-то красочной картинке), и огласил свое понятие Вселенной:

– Сей мир есть облян вонданским морем, в нем же земля плавает, яко желток в яйце, но не может двинуться, понеже ни на чем стоит!

– Ну, спаси ее Бог! – Дмитрий поблагодарил протопопа и прошел было к очередному докладчику, как Бучинский, взявший на осмотр и это сочинение, воскликнул:

– А ведь добрая книга, великий Димитр. Глянь, просто святой отец рисунок не так понял.

Советник показал царю страницу с точной астрономической схемой: действительно, желтки плывут в «вонданских» расходящихся кругах.

Отрепьев обратил Вселенную лицом к священству:

– Прояснит ли кто сию парсуну мира?

Под непонятливым жалобным взором царя духовные начали жмуриться и расступаться.

– Не знать о редких умах собственной Отчизны, царь Димитр, им вовсе стыдно, – заметил вполголоса Бучинский, – взгляни: главы кириллицей тиснуты, и писал какой-то ваш Иван.

Тем временем еще ряд отвечающих с шуршаньем и царапаньем жемчужных трав на рукавах и полах отступил – и экзаменаторы узрели кое-что сокровенное дотоле. Два самые дородные епископа за руки держали одного – менее плотного, но необъятно бородатого: они его же бородой и книгой плотно зажимали ему рот. Заметив, что открыты, богатыри засмутились и ослобонили собрата, убрали все от его губ.

– ... И не какой-то Иван, а преподобный, – в тот же миг заговорил бородач, по видимости, отвечая Бучинскому и как бы в пику ему заостряя ответ, – преподобный болгарский экзарх Иоанн. А по незнанию вашему, великолепный пан, следует заключить, что не всегда милей увлечься собственным умом, нежели не пренебречь великим чужеземным.

Бучинский ошалело заморгал. Бородач крикнул и, не дав поляку времени распутать безделушку силлогизма, продолжал:

– А в-третьих, ежели угодно государю моему беседовать о сей геоцентрической системе, проповеданной экзархом Иоанном, – кивнул он на страницу, заданную всем, – то нечего скорее соизволить...

И архиерей прочел короткий птолемеев курс – на основании лунных фаз он доказал шарообразность Земли и по сродству придал ту же форму Земле, Солнцу и звездам, затем он сопоставил высоту приливных волн морей с высотой шара Луны над земным горизонтом, а закруглил свой ответ точным расчетом сквозной толщи шара Земли – получившейся около девяти тысяч верст.

Отрепьев нежно поедал священника очами.

– Архиепископ Игнатий, рязанский, – полушепотом напомнил Ян. – Еще когда под Серпуховом мы стояли, уже признать-поздравить приезжал...

Впрочем, Ян все же желал показать, что хоть Игнатий и великий человек, но до польской учености самого Яна даже ему как до светлого шара Луны, и заметил громче, кивнув над крестом рук на груди Игнатию:

– Склоняюсь низко, святой отче, перед полною света главою твоей, и, думается, государь мой простит тебе ничтожную неточность: эту, что – не Солнце катится кругом Земли, а, как учит новейший космолог Микола Коперник, как раз Земля обходит караулом Солнце!

– Коперник? – зафыркал Игнатий, – знать, сородич твой, поляк? Небось, такой же хвастун, как и ты?

– Помолчи уж немного, отец! – вспыхнул Бучинский, – ну скажи: при чем здесь похвальба, Коперник доказал все строго! Ты и моргнуть не успеешь, по всея Европе распрострется мысль его!

– И века не пройдет, – каверзно предположил Игнатий.

– Будет вам, – прервал ученый спор царь, подошел к Игнатию и расцеловал, оцарапавшись его бурлящей бородой. – Отколь родом ты, отче, такой золотой?

Святитель вздохнул:

– Ох, и рад бы подольститься, государь, соврать, что – из твоей крепостной деревеньки, да нельзя... С острова Кипру мы, – слегка потупился Игнатий. – Но жил там недолго. Больше странствовал, лучами чувств щупал Богом подаренный мир. Одолевал языки благословенных и умных племен – иудейский и латинский, древнегреческий и древнерусский... На Руси при твоём брате, надежа, царе Федоре Рюрикове ставлен над епархией рязанской...

– При Годунове-управителе он выдвинулся, – прошелестела сзади чья-то ябеда, – при Годунове!

Епископ Игнатий повел бровью, повторил мягче и тверже:

– При царе Федоре Иоанновиче.

– Что ж, Священный собор, – обратился Отрепьев ко всем, – сам видишь, кого из тебя благодать разумения облюбовала. Знаю, знаю, все – достойные, подвигами благочестия все ломаные, но – прошу и мне внять – не великий старец и слепец, каким был прежний Иов, нынче надобен. Мне надобен в отцы, а вам в учителя – и в даль зрячий, и ходячий справно человек! А посему... – возвысил голос государь.

Тут из строя духовенства выбился волнующийся молодой игумен.

– Государь православный, надежа, попытай и меня, – выкликнул он, – я тоже зреть здоров – версты не доезжая, в монастырском стаде всех бычков и телочек сочту!

– Если так, – посуровел царь, – глянь мне в даль: какие звери ходят в Африке?

Отрепьев ясно помнил, как срезался сам на животном мире Индии – мактиторах и саламандрах, и приготовился хохотать сам.

Архимандрит сощурился изо всех сил и стал читать по «Индикополобу», раскрытому тайно товарищем за спиной царя:

– По Африке идет... «единорог, таков есть утварью яко кобыла, имат един рог, иже есть четырех ступеней, есть светел и сечет как меч. И вельми то животное грозно есть: всех противящихся ему истязает рогом своим...»

Архимандрит прервался – проморгать и перевести дыхание, и сразу услышал хихикающих умников.

– Нет, это ты, свят отец, пальцем в небо, а там одно поветрие побасенное! Нет в свете сих существ с благородным передним рогом! Им и не бывать ни «ныне и присно», ни всегда!..

Разумного царя кто-то уверенно потрогал склоненным челом за рукав – это епископ Игнатий все был рядом, выпрямился, улыбался:

– А вот и есть, мила надежа-государь! Зверь-носорог пасется в Африке – бычун! Правду мой брат молвил.

Бучинский и полуполковник Иваницкий подтвердили нехотя реальность зверя.

Архимандрит благодарно взглянул на Игнатия и приосанился.

– Хорошо, продолжай – еще кто там водится? – указал ему уже серьезно царь. – Да не заглядывай за плечи мне – там наш север, а не африканский юг. Не труди глазки, сокол, – по чести, памяти теперь ответствуй.

Игумен порозовел, зажмурился уже для памяти:

– Тамо же есть... в воде глисты... сиречь черви, имеющие две руци, аки человеки... есть длиной в сажень и в локоть, толь сильны – елфанта пойма, влечет в воду и истлевают!

Отрепьев собрался захохотать, а Игнатий опять тронул его:

– И таковые на плаву. Это же аллигаторы.

– А у вас в Рязани и грибы с глазами есть? – не сдержался царь, тише добавил Игнатию только, – што ты дури норовишь? Сам не желаешь в патриархи?

– Ох, желаю! – признался в бороде Игнатий. – Но вот я, батюшка, шепну тебе, только худом уж меня не вспоминай: всяк остросмыслый муж суть алхимист душ человеческих, то есть он ищет способов – врагов в друзей чудесно обращать, как говна в золотишки.

Минуло дня три с того утра, как Священным собором был избран патриархом всей Руси ахецянин Игнатий – и восхищение царя бесценной залежью познаний и филигранной отточкой суждений нового владыки возросло самое меньшее втрое. Но вместе с восторгом прибывала и неясная тревога, несильная, но увлекающая – как костное нытье. Не успевшие преобразиться в друзей, недоброжелатели Игнатия рассказали царю, что грек страстно пьет.

– Нет, с этим все! – сразу ответил Игнатий на грустный вопрос Дмитрия. – В епископах попивал, греха не потаю, а ноне – нет и нет!.. Да почему лопал прежде? Знал: тутошние отцы выше епископа все одно элину не дадут подняться, *sed alia tempora* теперь, совсем другая *fata!*..

– Смотри, Игнат, – покачал царь головой, – опять не заскучай. Ведь выше патриарха я тебе дать росту тоже не смогу. Разве что, когда Европу покорю, на место папы римского?

– Не заскучаю, даже не тревожся, Мить, – успокаивал патриарх. – То я во мгле рязанской прозябал, а ныне ежесуточно вкушаю просвещенную беседу моего царя, либо его свободных разумением ксендзов, полковников и капитанов!

Отрепьев подумал, что общение с польскими капитанами тоже не самый прямой путь к благочестию и трезвости и намекнул о том Игнатию.

– Мы ж сорокалетних бочек меда не касаемся, – оправдался свободно Игнатий, – так, цедим фряжское или романское...

– Владыко, с легоньких винишек-то надежнее спьянишься богомерзки! – остерег знающе царь и вдруг различил, не зрением, а только чуть дрогнувшим чувством, за непроницаемой бородой грека улыбку тонкого высокомерия.

– Мой корпус совсем одевил, государь, – брякнул грек на обрусевшей латыни, со вздохом потерявшего надежду лекаря. – Хмель же и расширит, и смягчит во человеце телесный сосуд, таков уж способ действия природы, в нем же несть греха.

«Как ловко выворачивается сей всезнайка, а я...», – хотел подумать государь, но только взял благословение, выходя от патриарха, – махнул рукой.

Да нет, досадливо саднящая тревога была не в том, силен ли выпить новый патриарх... Но в чем же?

Отрепьев выбрал бархатные кисточки из петель ворота, вздохнул поглубже, наделяя воздухом и кровью медленно задумавшееся сердце. В груди немного прояснилось, мысли же совсем отошли, и над сердцем проступил зачем-то лик приходского галического дьячка – из бескрайнего и царственного края детства.

В конце ноября, когда Юшке Отрепьеву стало семь лет, призванный отцом в избу священник отслужил покровителю мысли святому Науму молебен и полил голову мальчика, как слабый саженец, прохладною водой. Вслед за священником в избу вошел и сам учитель, дьячок той же церкви. Отец поклонился ему, а мать, подводя сыночка Юрочку, запричитала, промокая кончиками ситцевого платка страшные – от ожидания всех скорбей сыну – глаза.

Отец горячо попросил учителя за леность учащать побои Юрию, и совсем передал ему ученика. Но дьячок сам улыбнулся Юшке ищуще и ласково, – Юшка, забыв сразу об опаске и волнении, смело встал на колени, трижды, как мать с отцом велели, бесстучно лбом коснулся пола, потом учитель трижды же мазнул его небожно плеткой по спине. Так открылось «книжное научение».

Учитель раскрыл азбуку и начал с «аза». Мать заголосила пуще, умоляя дьячка не умирить сына. Юшка, опять начиная робеть – заодно с матерью, протянул – котенком с пчелой на хвосте – вслед за дьячком – «а-а-а-ззз», и по настоянию его отыскал еще три «аза» в той же книге. Тогда учитель погладил его по голове, встал и важно объявил, что первый урок кончился.

На другой день Юшка так отчаянно и чутко ждал первого своего учителя с вторым уроком, что жажды этой, казалось, могло бы хватить на изучение всех ведомых Земле азов – во все дни божии до дня последнего.

Уже первого декабря Юшка понесся, не оглянувшись на заплаканную маму, в школу. Едва отдышась, сел там на краешек лавки, упер ногу в стену и, резко ее распрямив, смел с ученической скамьи ранее вошедших и рассеявшихся ровесников. Быстро и крепко уселся к месту наставника ближе всех. Вошедший дьячок всех благословил и, занимая свой стол, посадил на колени себе двух самых щупленьких учеников, выжатых со скамьи нагрывавшим Отрепьевым. В продолжение занятия преподаватель несколько раз легонько дул в светлые макушки маленьких, и золотая легкая волна прокатывалась у тех по головам, и вместе, наставник и все дети, тихо смеялись.

– ...Обскажу-тка же я вам, – говорил наставник среди занятия, – отчего зачалось Солнце красное, отчего зачались ветры буйные, отчего зачался у нас белый свет? – И обсказывал: – А Солнце наше Красное – от лица Божьего, самого Христа царя небесного, млад светел месяц – от груди его отца. А зори ясные – от ризы мамы Боговой, а ветры буйные – от святого Духа...

Дети молчали – по-разному заворожась, все понимая.

После кремлевского тихого часа в Палату с докладом вошел ближний «сенат». Услышав его мягкий шаг, царь быстро погасил на стенках потайные лучики и снял бесшумно сапоги.

– Вести из Сыскного дома, царь Димитр, – начал Бучинский, раздвигая парчовые занавеси, – князь Василий признал все, что угодно Басманову. Младшие братья его поломались, поспорили было на дыбе, но тоже винятся сейчас...

– Что ж Петр Федорович отчитаться сам не подошел? – перебил Отрепьев, ловя ногами сапоги. Сутупов-дьяк прыгнул на корточки, ловко проволоч по царской ножке тимовое голенище – причем, отвечая:

– Басманов завтра отчитается, отец мой. На своем подворье он... Отходит после пытки.

Отрепьев в удивлении скосился на моргающего виновато из-под клюквенного сапожка Сутупова: ох, надо бы возможно скорей разыскать замену на пост главы сыска Басманову, сохранив за ним только Стрелецкий приказ.

Полковник Дворжецкий, готовя свое, извлек тем временем из кошелька несколько небольших, но благородно блестящих предметов.

– Эти реликвии двора, сколько могу судить по гербовым насечкам, – пошел он негромко почеканивать, как дошла до него очередь, – были предложены мне русским неброским человеком сегодня на торгу. Московит сразу же препровожден мною за холку в злобный дом...

– Разбойный приказ? – переспросил дьяк Сутупов.

– Дзенкуе, точно так. Судя также по закупкам моих жолнеров, гуляют по базарам и вещицы поважнее. Изумрудные кадила – а по виду русские уменьшенные храмы, лаковые лебеди-ковши, ковровые травы – тканые. Зная, очевидно, что мои поляки от государя получили за поход кое-какие суммы, московиты, грабившие по дворцам при низложении последних Годуновых, и сбагривают все моим!..

Царь покрутил в руках поданные Дворжецким золоченые братинки с гербовыми «мишенями» по днам – двуглавыми орлами в черневых кругах, под чернью же стеблей в росе речного жемчуга и ягодах-лалах далеко снаружи. Взял – чуть не уронил, сжал дрогнувшей щепоткой панагию из двухслойного агата с резаным распятием, знакомую – до страха и хохота где-то

в пуге души. Он повернул камю панaгии оборотной стороной, чего никак не мог, будучи чудовским дьяконом, и прочитал: «царем Федором Иоановичем и царицей Ириною возложена 26 января 1589 лета на патриарха Руси первого Иова, в день поставленья его.»

Дьяк Власев и служилый князь Рубец-Мосальский, советники из ближней думы, кисло переглянулись за спиной Дворжецкого; ухмылкой вознегодовал Бучинский: вот ядовитый чистолюй, выбрал же время благородно доносить царю на его подданных и на свое же войско. Начни чистить сейчас по базарам, возвращать вещи в казну, – только смутишь самых легких, лихих на подъем москвлян, тех самых, чьими рьяными глотками и твердыми пинками трон Годуновых был наказан окончательно, ниц уронена перед царевичем Москва. Ну, сунул такой гневный мещанин в штаны кремлевскую братинку или наутилус, так ведь он животом за царя рисковал. К тому же не расчел в запале, что у восприемника крадет, – хватал-то у проклятых Годуновых. Да ладно, русская казна не захиреет, по высоким башням да глубоким погребкам, по тайникам соборов, добра долго не избыть... И то же, если проверять покупки у поляков. Можно рыцарство не в шутку огорчить.

– Замечу пану, обрушиться на виноватого легче всего, – заслонил Дмитрия от щепетильного воина первым Бучинский. – А поставьте так: какой цивильный властелин препятствует обогащению собственных граждан? Уже известно, чем состоятельней податной смерд, тем богаче и его хозяин.

– Я – жолнер, пане, а не эконоом, – выпучил глаза Дворжецкий, – и никак не разберу, много ли разживется государство оттого, что у него крадут?!

– Сметливый и проворный человек, – отвечал полковнику Бучинский, при этом оборачиваясь поочередно ко всем, – каковы большинство людей простого звания, пустит сразу же злые в дело, шире развернет свой торг, и государь, взыскав подати с прохвоста, вернет потерю не один раз. А то какой-нибудь рубиновый черпак или брелок ползалы озаряет зря, ждет, когда владетель подойдет причаститься от него разок в году или отправит в честь крестин дальнему брату-королю даром.

Советники погукивали по-совиному в согласии, но все не размыкал серебряные брови над чистоганами глаз пан Дворжецкий, и царь, отложив камю Иова, начал прислушиваться к разговору.

– Да все большие состояния Европы имеют в основании разбой, – продолжил Ян. – Плавают отчаянные головы, пираты ли – на скакунах по степям, или татары – на корветах морем, пьют кумыс с грогом да побивают картечью своих и чужих. Так делают деньги. А потом пожилой флибустьер сходит без шума на берег, заводит вкусную таверну, мануфактуру в тысячу станков...

– Безусловно, оно так и есть, – поддержал с чувством служилый князь Рубец-Мосальский, тоже хранивший предания о своих пращурах – ночных кошмарах вотчинных князей. – Сын этого татя в наследном удовольствии не виноват, а внук и знать не будет... какой мотыгой делан виноград деда его.

– Как хорошо, плавно, Господи, как по писанию! – умилялся тихо рядом дьяк Сутупов, знавший, что все аллегорические велеречия ведутся от колена книги об одной теплой стране. Наконец и взор Дворжецкого смиренно помутился. Блуждавший в стороне от прения старик, нянчивший некогда в люльке царевича, шарил ферязью по граням бархатных скамеек, мягко трогал витые шандальцы пальцами. Он эту палату помнил со времени Грозного, когда такие птицы, как Сутупов и Рубец-Мосальский, не говоря уже о борзых полячках, и ступить не смели на порог Великих Теремов. Конечно, свежая шуба чище державу метет, чаще шепчет государю дело, все знает шубоносец древний, а все ж таки положит искушенный, во всяком случае искушенный рукав свой поперек.

– Время божие, знамо, сором заровняет и худо убытка в прибыль добра обратит, – заговорил будто сам для себя Богдан Яковлевич Бельский – издали, но низкий голос оружничего,

только пряча лишний гул в замшь стенок, шел ясно к каждому. – Но вот строил я пять лет тому прочь крепость-Цареву на казачьем рубеже, и казенные ленивцы-мужички мне сперва сплавляли из какого-то болота тленный лес. Само собой, я тот народ – под плети скоренько и заново – в работу: одолевать ладные деревья. А времени-то, слышь ты, а коней – тяжеловозов – жаль: я тот топляк сваями в берег и врой. Вижу, косогор тамошний и без опор твердо глядит, сверху наклал еще белого буту и на таковой подошве уже тын из отменного дуба вознес. А теперь, братцы-думцы, спрошу вас: слыхивали вы, как разливается речка Ныр?

– Воображаем, пан оружничей, – нетерпеливо ответил Бучинский, – но не возьмем в толк, при чем здесь разливы Нила, коли ты городил острог на Северном Донце?

– Так вот, веришь ли, мой пан-без-чин, тая самая мысль и меня тогда утешила, – преувеличенно порадовался Бельский. – А русской весной как обычно – неожиданно, нежданно – воды как взыграло да закрутило ключами ручьи – все гнилые сваи зажевало, и мой бережок поехал вниз. Тут и верхние стрельницы зубы в стыках расцепили – все, по бревнышку, скатились в воду – туда же, отколе плотами пришли. Коли пытолюбству вашему надобен делу венец – вот он, простой: дабы зряшностью трат не попасть на Борисов правож, – мне, безпортошному, пришлось своей копеечкой и личным мужичком до ума тот тын тянуть. Что ж, дотянул гоже, – между сутью заметил старик, – суть не в тем. А вот – хоть наперво и оплошал, да потом поиздержался, но доказал себе примерно – на гнилой основе добрых стен уже не свесть.

– Пример пана – не то дерево, – заговорил наконец-то Бучинский, давно державший начеку язык. – От какого гнилья в основании общества остерегает пан зодчий? В нашем-то случае в фундамент поступили вещи из лучших каменьев и золота!

Богдан Бельский посмотрел на Яна с диким пониманием – как на дальнюю иноязыкую родню; быстро повел глазом на царя. Но Дмитрий стоял к окну лицом, тело и лоб уперев в стрельчатый свод, – его крутой отвлеченный затылок можно толковать, как кому угодно, – никому не понять правильно.

– А завидую я вам, – молвил Дмитрий позднее, гуляя вдоль разубранных стен и сундуков оружейного покоя в сопровождении Бучинского. – Каждый нашел по себе дело. Кто спорит о нравах, кто взбрасывает недруга на дыбу, кто на дыбе трещит... – все заняты. Один я...

– Твоя ли милость жалуется? – подхватил Ян, внимательно по ходу палаты выбирая оружие по себе. – Уж старый дворик Годуновых моего царя не занимает?

Облюбовав два легких клинка, Бучинский завращал их всячески в руках – всполохами выстлались огни каменьев и речений из Корана на черной стали.

– Янек, сам знаешь, ты мне как брат, – с душою выговорил государь. – Но этот старый дворик – не твое свинячье дело.

– Бардзо дзенкуе, цесарь сердца моего, – с лета остановил сабли, словно врубив мертво в воздух – принял рыцарскую стойку обороны Ян. – Но цесарь еще попривыкнет к мысли, что каждый его частный шаг – суть дело всех: от щенка последнего псаря до родовитых сук на вотчинных гербах...

Дмитрий махнул вяло перед собой булавою, посеребренной между золотых колючек.

– Малакуйтесь у высочайших почивален. Мне скучней в них от того уже не станется.

– А наши новые друзья, поди, толкуют, что их царь ночами сладко утружден... – отступая перед булавою друга, из-за своих мечей продолжал ненавязчиво Ян.

Дмитрий хотел вдарить палицей об пол, но придержал ее – рынды сбегутся на звук.

– Сам!.. помолчи. Сам знаешь, что я не насильник, и дела мои в том теремке – неподвижные.

– Мне-то известен обычай царя-рыцаря, – быстро отшагнув назад, Ян – как бы вышел из боя, расслабленно оперся на мечи. – Но наши новые друзья... Все эти полуживотные с бородами диких туров, ползающие зимой и летом в длинношерстных одеялах... Эти друзья

едва ли в состоянии поверить – что молодой, в полном достоинстве мужчина, всегда имея над прелестницей всю власть, способен в то же время саму панну не иметь!

– И что делать? – косо ссутулился Дмитрий над тяжелеющей помалу булавой.

– Выходы есть, Димитр...

Солнечные лучики, пробравшиеся и в этот чертог, защекотали золотом усы Яна, не то мешая, не то радуясь всему, к чему он вел.

– ...Свести бы хоть с местных палат. Хоть к Рубцу-Мосальскому на ближний двор. Уж пускай служивый греховодником слывет!

– Брось, князь – дед бездетный.

– Даже лучше! Молва перевернется: мол, царем обласкан преданный старик – жалована ему живая дочка!

– Скорее уж внучка. Снегурочка, – слабо улыбнулся Дмитрий.

Бучинский мягко подхохотал, но на вдохе унял свой смех – застать на выдохе улыбку царя, успеть раскатить другу под небрежную веселую походку мысли дальнюю свою дорожку.

– Итак, мы видим, как полезен ход Кшисей на клеть князя Рубца. Но можно пойти и сильнее... О как я понимаю моего пана души, все чувства заняты одною дамою! – Ян ловко попал – запустил клинок в оправленные крупным виниусом ножны и начал те ножны цеплять к своему поясу. – Тогда все остальное поневоле отзывает пустой скукою. Но признай: сластолюбивые забавы хороши для мальчика, лениво подрастающего в отчем доме, и неуместны великому мужу. Дела его грозной и сложной державы для него не могут быть скучны.

Дмитрий уныло кивнул и подвесил на стенку тяжелую палицу. Янек продолжил добрее.

– Мы видим, надобно хоть временно очнуться от дурмана. Трезво сказать – на Руси красавиц на век цесарев хватит, Кшися из них – лишь одна. Но кто есть Кшися? Последний свет в бойнице всех этих племянников, сопливых соплеменников Бориса, ныне высланных Сабуров да Вельяминовых. Вся их мечта – когда-нибудь опять привить к престолу древо Годуново. А это через отростки из чрева Кшисина – ближе всего. – Бучинский, приостановясь, всмотрелся и истолковал двинувшееся лицо Дмитрия к своей пользе. – Их надежды, понятно, – тупик полный, но хлопот добавить могут. Вспомни уроки истории в Гоще. Логика веков учит нас не запускать ветвей опасного родства. Рано, поздно ли такая ветка помешает, но пока она тонка, может быть разом срезана. Выброшена далеко с торной дороги.

Бучинский тяжело – за себя и за царя – перевел дух:

– Не лучше ли споспешествовать этому теперь, когда сам Шуйский под колючею шапкой Басманова? Уж бы к делу княжеского заговора и девочку подшить – Шуйские, на колесе, я чаю, быстро примут ее в свою шайку. А там, сам нагадай, чего ей – путь-дорога в сказочные льды, Снегурочке?.. Впрочем, коли великосердный цесарь сжалится, – будто под нос себе рассуждал Бучинский, гадая над остывшим лицом цесаря, присевшего на край распахнутого сундука в оковке, – коли захочет спасти бывшую свою странную симпатию от ужасов холода и одиночества, а пуще – оградить от междоусобий свой край – так и это в его власти: строптивицу всегда можно нежно избавить от мук...

Дмитрий что-то искал в сундуке, на котором сидел. Без слова встал, прошел к второму сундуку – отворил с силенным визгом второй... Перешел к третьему.

– Кабы ведал государь души моей, как душе трудно, – уже заключал Ян, – грустно как – об эдаком напоминать... Но таково бремя большого друга и советчика.

Дмитрий отыскал-таки в ларцах нарядную пистолю. Покатал по дну ящика пульки – наловил покрупней. Сыпанул из мешочка с вышитым брусничным листом (без брусники – кем-то, видно, собранной), на полку пороху. Макнул затравку, витую из канитель-нити – не для войны, для царственного любования, в плоску под свечой и наживил на фитилек от свечки радостного мотылька. И поднял пистолю на Яна Бучинского.

Ближний сподвижник еще улыбался – думая, что царь решил развлечь его, пугая. Но Дмитрий накрепко зажал курком затравку и прицеливал ствол все точнее – промеж глаз Бучинского.

– Милостиво избавляю тебя, Ян, от земных мук и разрешаю от дружьего бремени, – выговорил Дмитрий так покойно, как одержимый невозмутимостью.

Мотылек в оправе черных нитей вянущего на глазах запала все ближе подбирался к полке, а государь и не думал унять его вольной жизни или хоть отвести оружие от человека прочь. Улыбка Бучинского, захолив, перешла в жуткий оскал. Не помня как, Ян кинулся вбок – к яркой стенке. Оттолкнувшись от колчанов и мечей – к другой. И так, звонным зигзагом, опрокидывая на ходу стоячие кирасы, сцарапывая с ковров вооружение, поскакал к дверям. Позади него с лязгом, грохотом валились брони и щиты, русские боевые топоры и сбитые с ног западные латы, а Яну казалось, что изо всех пистолей и аркебуз зала бьет по нему государь.

Чудом выскочив в сени, Бучинский помчал по дворцу. Пнул двери Прихожей палаты и застыл, остановленный спертым, стальным духом смиренного помещения.

Навстречу царскому наперснику поднялось несколько меховых станов: Голицын, Сутопов, Молчанов и Шерефединов удивленно глядели ему в поседелое лицо и на покачивающиеся не в лад на его поясе клинки в ярких ножнах.

– Соколик... благодетель Яня, – сказал, задышав тоже мельче, Сутопов, – ну как там-тка?

Ян, войдя в Прихожку окончательно, растер по лбу пар и присел на лавку:

– Нет... никак... Да я чуть не убит... Чтобы еще хоть раз! – наперсник расстегнул ворот, полез за атлабас рукой.

– Ты сказывал ли, что живот ее еще опасен? – спросил в тоске, не зная, как понять и обмануть неудачу, Сутопов. – А баял, что она – бесов послушница и ворожит, чтоб переманить к себе от всех важнецких дел царя?

– Как об корону горох... – мотал вихрами поляк. Нашарил за потайной пазухой, вынул и протянул думным сенаторам камешек – розовый альмандин.

– А ты остерегал царя, – влез Шерефединов, – что кызбола в Сарае суть тамыр есть – корень зла?

– Приберите обратно, – настойчиво протягивал Сутопову лучистый шарик Ян. – Я ничего не должен вам, и вы мне не должны... Мне сей предмет не надобен.

Дьяк Сутопов скользью глянул на усыпанные крупной клюквой лалов и росой венисов сабли на кушаке у Бучинского: и впрямь ляху не надобен маленький альмандин.

Бояре припотупились. Нельзя, нельзя держать близ молодого цесаря прелестницу-бедняжку. Ополоснет огневой влагой зениц, натуго обяжет телесами – а там злопамятьем своим и наведет государя на врагов своих неотомщенных. На распорядителя смерти над мамкой и братцем – холоднокровного думца Голицына, на согласного зрителя – Сутопова, на душителя – Шерефединова да Молчанова-дьяка – за ноги держачего.

Дмитрий все холодней день ото дня к прежним любимцам, так и веет студено из царской души. Час неровен: принесет этот ветер приватный указ, погонит этот ветер в спину батоном – в пермяцкие леса, сорвет с головы шапку-боярку, а то скинет и голову. Катнет слабую в полую даль – ту, о которой и не думать страшно.

– Ну что ты, Яня, что ты? – чуть отклонил руку Бучинского с камнем Сутопов. – То ж не в обиду, не во мзду, так – подарок, безделка на память. Спрячь скорее, не обижай...

Янек подумал, подергал атласными бровками и, приподняв плечи, как через силу – с подарком впуская за ворот неодолимую усталость, убрал альмандин.

Шерефединов сразу сел и ухватился руками за бритую голову:

– Уш кабы я был польский друг бачки-падиша, я бы нашел, каким словом в него мысл вертать!

- Ну, каким словом?
- Я бы сказал: вспомни, как говорят досточтенные старики в наших Ногах...
- Стой, ты же советуешь от лица польского друга, – перебили его.
- ...Говорят старики в нашей Польше, – поправился Шерefeldинов, – они говорят:
«Орысны айдхан сезлер дыгнемесе! Ахай олурсэн!»

Казнь

В сыском подполе разговор с князем Василием Шуйским вышел короткий. Князь под пол только заглянул – завидел три ненастные свечи, обмирающие от сырой тьмы, столбы – равномогущие тени, кем-то отброшенные из-под земли, несложную ременную петлю под пере-кладиной и в черной смрадной луже затвердевшее бревно противовеса. Уперся Шуйский из последней мужской, оттого зверской силы, скованными ногами в косяки узких дверей и на пытку не пошел. Заголосил благим бляением – мол, повинюсь во всем правдиво и пространно. И здесь же, враз, сев на приступке крутой лесенки, на все вопросы сыской сказки дал утвердительный ответ: все так и еще как! – умышлял, витийствовал, озоровал, каверзовал, склонял, ярился, привлекался...

Пока ярыжка успевал подсовывать под перо в твердой щепоти Шуйского то навесную чернильницу, то наветные листки, Басманов и Корела вышли подышать во двор.

У полинявшей задней стены здания Казанского приказа отцветал большой черемуховый куст. Корела и Басманов подошли к нему и опустили лица глубоко в подсохшие, но еще остро-янные грозди.

Младшие братья Василия Шуйского поначалу отнеслись легче к допросу и пытке. И только когда прямые руки каждого, восходя сзади над головой, уркнули из плечевых суста-вов, а ноги как раз отнялись от земли и нежная старая кожа от паха до кадыка напряглась – одним непрочным, взрезаемым костями по морщинам-швам мешком... – явили братья всю свою крамолу. По очереди, взвешенные князь от князя независимо на дыбе, определили они татя-подстрекателя: брат Митяй показал на Степана, а Степан – на брата Митрия.

Тюремный лекарь сразу же вдевал приспущенным вниз заговорщикам по месту правые руки, и тати, зажав бесноватыми пальцами перышко, отмечались каждый под своим доказом.

– Так што, один братишка надурил? А сам-то что ж отстал? А ваш старшой где был, ошкуйник? – снимал допрос Басманов с уравновешенных заново под пере-кладиной грузиком хомута на бревне, резаных кнутом князей.

– Што тут сделаешь, раз на мне нету вины? – хрипели одинаково князья запавшею гор-танью. – Ну... еще есть на одном вся измена доподлинно – вроде смущал нас пьяных... тот... ну, смоленский воевода, боярин с одна тысяча пяти сот восьми десятков четвертого лета от Христова Рождества... ну старший князь Шуйский.

Подписались кое-как и под строкой, винящей старшего в попытке воровства престола.

Чтобы им лишний раз не приделывать руки, Басманов посоветовал:

– Расписывайтесь заодно и в собственной татьбе. Будто кривить не надоело?

– Припишите еще – Петр Тургенев, голова в дворянских сотнях, всюду состоял. А чтобы я – смиренник государев, это вряд ли... – сказал средний брат, отдуваясь – лежа на земле между столбов.

Басманов ощерился жестко – измышлял для Шуйских точный ложный страх, весь пере-косившись душой.

– Да ежли вы сейчас же, демоны, не повинитесь, – вырычал он наконец, – мы ж ваших жен на нашу дыбу – раскорякой к палачу!

– Воля твоя, Петр Федорович, гложь старух, – кое-как – вдвоем, но гордо молвили ответ-чики, – а из нас больше звука не вынешь... Это что же – хошь, чтобы древние князья своей рукой – и не кому-то, а себе же бошки сняли? Никогда не может быть! И все это, чтоб ты свою породишку худую выпятил, да?! – спросили теперь уже Шуйские: спрашивал старший брат, а меньший презрительно сплюнул – знатной кровью с высоты.

За спиной у Басманова грохнула дверь – Петр Федорович оглянулся, но уже завизжали снаружи ступеньки – Корела выходил на волю. Вскоре следом за товарищем поднялся и Басманов: казак стоял невдалеке, лицом к стене служб – в черемховом кусте.

Вдоль всей широкой приказной стены пушился сквозь крапиву одуванчик – и надо бы свистнуть кого-нибудь выкосить сор, да всегда недосуг: труждаешься во славу государя либо так вот отдыхаешь от глухих трудов, оплыв душой. И то сказать – в иные времена кто-нибудь этот сам бы, поди, каждый закуток Кремля и прополол бы, и вымел. А нынче ему тоже не до травяных малых хлопот – может, бревна катает или в землю уходит с лопатой вблизи московецких бойниц. Туда из служебных подклетей уйма люду согнана – на закладку молодому государю нового дворца – ясно, в старых борькиных храминах Дмитрию зазорно. Старый же чертог Ивана Грозного, где временно остановился государь, и ветх, и ставился без должного капризного внимания царя Ивана, все прятавшегося, спасаясь от бояр, в какой-то подмосковной слободе.

Басманов подошел было к помощнику, но остановился в нескольких локтях – не касаясь светлого лица черемухи. Будто чья-то непонимаемая сила слабо, но действительно заграждала ему путь: точно воевода накопил и вынес из подвала сердцем и лицом столько клокочущей звериной доблести и страха, что – коснись он сейчас раскаленным и тупым сапогом своего носа до прохладного цветения куста, иссушит, испечет до срока этот легкий божий цвет. Пусть уж так, на расстоянии от воеводы, цвет еще подержится, сплоченный из отдельно-, купно-, приоткрыто-улыбающихся личиков в сплошные кисти счастья.

«Нельзя, – Петр Федорович тиранул тылом запястья платье против сердца. – Мне нельзя так... Надо было вести до конца, безотдышно, внизу начатое».

– Любопытная пытошная арихметика, – звучно щелкнул воевода ногтем правой руки по скрученным харатьям за обшлагом левой. – На сегодня из трех привлеченных князей обличены ими же, взятыми вместе: одной подписью вина Степана, одной же – Митрия, а вот под каверзой Василия расчеркнулись сразу три руки.

Корела, вздрогнув в кусте, посмотрел на Басманова, как на изрезаемое без жалости подпругами брюхо коня.

– Оно и понятно, – не глядел на казака Басманов, – по первородству-то Василий метит гузном на престол... Вот только плохо, странно, что мои сокола, третий день на его усадьбе ковыряючись, улики путной не нашли... Заподозрительно даже. Надоть самим хоть дотти, что ли, туда – глянуть, что да как?..

Атаман вышел совсем из куста, кинул руки по швам.

– Петр Федорович, я не могу сегодня...

– Что так? А по боярским хмельным погребкам пройти-то хотел? – улыбнулся Басманов, почуяв недоброе.

– Значит, перехотел, – резко положил донец вдруг руки за кушак. – Дуришь, Петр Федорович, это же грабеж.

– Ой, – заморгал сразу Басманов, – кто ж это мне здесь попреки строит? Дай спрошут-ка, ты станичник, для чего в степу турецкие караваны поджидал? К сараям Кафы струги вел – зачем? Саблями торговать аль лошадьями меняться?

Корела побледнел и поднял на Басманова похолодавшие глаза.

– Мы своим гулянием Русь лучше сохраняли всякой вашей крепости стоялой.

– Правильно, – приосадил сам себя воевода. – И не грабеж то, а – война и к ней законная пожива. У нас – то же. И даже у нас еще хуже: обороняем самого царя! Еще не поймешь простоты этой толком, а сразу клейма жечь – разбой, грабеж!

– Наверное, ты прав, Петр Федорович, – будто смирился донец. – Нет, не разбой такая простота, а хуже воровства.

Помолчали. Выходило так: чем честней старается Басманов стать на место казака, тем внезапно с этого места соскальзывает и оказывается в каком-то незнакомом месте.

– На допросах меня боле нет, – уведомил Корела. – Сам на твоём станке за государя разодратся – всегда радый, но про эдакую муку я не знал...

Андрей, согнув кунчук под рукояткой, зачем-то обернул вокруг руки, повернулся и пошел вдоль здания приказов – невольно перешагивая одуванчики.

Зашагнув за угол и перестав теменем чувствовать грустную усюю Басманова, казак вдруг воротился к спору. Провел рифленным сгибом плети по своей, в круг стриженной, но подобно шапке одуванчика – молодцевато-слабой и припухшей одиноко голове...

Там, в ближайшей дали, южной глубине – поездов парчовых остановлено, сожжено персических каравелл, облеплено казачьими барками – на щепки разъято – султановых шляв... А роз сладких на побережьях трепещет и откупается от Дона золотом...

Но там люди хватают свой куш еще в пылу сшибки, радуясь на сильного и в смерти, и в лукавом бегстве неприятеля. Там за коней, оружие, арах и рухлядь казак сам, не привередничая, подъезжает каждый раз под тесаки и пули – рядом за то же барахло свободно гибнут лучшие товарищи, а на обратном, медленном от веса дувана пути, уже укрепленный отряд татарвы настигает станичников по теплому следу.

В награду, в случае удачного исхода, казаку и коню его перепадет лишь самое необходимое. Главная добыча – в обиход Донского войска и идет вся на закупку по Руси того-сего: винца, овса, хлеба, дроба, огневого зелья – всего, что сложно ухватить южнее, да на гостинцы Москве в оправдание своего приволья.

Вся эта купность лихих обстоятельств (хотя вряд ли каким казаком или московским дьяком взято это в толк) как бы за казаком закрепляла – прямой травной буквой степного закона – кровное рыцарское право на все опасное добро по окоему Востока, дерзко облагораживала и возвышала разбой.

На диких сакмах часто казакам встречались белые, выскобленные всеми силами степей кости с оловянными крестиками подле шейных позвонков: ордынцы ослабшего русского не довели-таки в вечное рабство. Так донцы убеждались в правоте и надобе своей гуленой службы. Оловянные крестики вернее всякого соборного обряда благословляли вольницу – обнадеживали насчет смертного пути.

У ворот двора князя Василия Шуйского чиновник Петр Басманов спешил и поручил слуге коня.

Не для почтения к вельможному преступнику вступил он на подворье его пеш – с оскомины к праздным переполохам. Да из азарту – живого во всяком, чуть осмысленном начальстве: крадучись бесшумно, заставить все на местах, как оно есть – в тихий расплох.

Басманов пошел от ворот к терему чистой, полого возрастающей тропой, составленной из аспидного камня в елочку. К этой главной дороге двора отовсюду сбегались, почти не оставляя между собой чистой травы, замощенные досками и земляные, тропки важностью поуже. По ним и мимо, поперек, вдоль и поперек тропы Басманова – знай похаживали холопского звания люди: кто – баба с корзиной сырого белья и пустым ведром, кто – мужик с полными вилами, кто – малявочка с удочкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.